ИВАН МИКИТЕНКО

Уркаганы





ИВАН МИКИТЕНКО

УРКАГАНЫ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Перевод с украинского
Константина Трофимова

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва
1957





ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

В далеком районном центре умирала жена начмилиции. Это было в селе, затерявшемся в холодных бесснежных степях. Умирала она зимой. Сумрак окутывал ее. Температура в комнате была чуть выше нуля, горячий воздух, выдыхаемый ею, охлаждался, и капельки росы оседали у нее на лбу. А ресницы уже покрывались незримым пеплом смерти.

Мрачный начмилиции, партизан восемнадцатого года, который видел много крови и контрреволюции, стоял посередине комнаты в шинели и в тяжком безмолвии переживал конец своей никому не известной любви.

— Левко... я умираю, — пылающими, сухими губами произнесла жена. — Душно мне...

И у нее на щеках расцвели два красных пятна, будто запоздалые маки печальной, пожелтевшей осени.

— Наклонись ко мне.

Он оторвал от пола ноги в сапогах с подковками и отмерил два ровных, коротких шага. Он склонил над ней свое огромное и тяжелое тело.

Оно было утомленное, закованное в шинель, как в панцырь советского спокойствия. Его небритое, обветренное лицо ощутило на себе легкое дыхание жены, умиравшей от чахотки. Он склонился над ней еще ниже.

— Живи. . . Ты борись, не поддавайся. . . — говорил он ей, с отчаянием глядя в ее с каждой минутой угасавшие глаза. — Вот я зажгу сейчас лампу, затоплю «румынку». . .

Если у коммуниста умирает жена, принесшая ему любовь еще в восемнадцатом году, когда он был партизаном, ему, наверное, очень тяжело. И нестерпимо больно. Тогда он может даже проклясть холодные, равнодушные к человеческому горю степи.

Малиновой фуражкой, которую ему выдали в городе, начмилиции размахивал над дверцами «румынки», чтобы она поскорее разгоралась. Но все это было напрасно, потому что только густой смолистый дым клубился над сырыми дровами, разъедая глаза.

А когда он услыхал длинные, тяжелые хрипы, вырывавшиеся из груди жены, он бросил фуражку на пол и снова приник к постели.

На дворе было уже совсем тихо. Стояла глубокая зимняя ночь. Спали уже не только соседи, но и председатель райисполкома и секретарь партячейки.

В это время жена начмилиции угасала.

Она ловила ртом густой воздух, смешанный с дымом, глядя широко раскрытыми, наполненными невыразимой печалью глазами на лампу. Потом она перевела взгляд на мужа и умолкла.

И в комнате наступила такая тишина, как в просторном пустом гробу. Из-под высокого влажного лба глядели на окаменевшую фигуру начмилиции два белых глаза, которые уже ничего не видели.

Тогда начмилиции прикрыл ее одеялом и сел к столу.

. . . .

Никто не может знать, о чем думает коммунист, когда все спят — и секретарь партячейки спит, — а он одиноко сидит возле мертвой жены. И никто не может сказать, рыдает ли он тогда или беспрерывно курит папиросы. Или, может, вспоминает, как сражался он когда-то с бандитами, и тогда она полюбила его —та, что теперь мертва.

Никто об этом не знает.

На рассвете начмилиции поднялся из-за стола и вышел.

Он пришел к секретарю комячейки и сидел до тех пор, пока тот не проснулся и не сел на кровати. Тогда начмилиции сказал ему:

— У меня умерла жена.

Секретарь долго смотрел на него, не понимая, в чем дело, потом стал на пол и подошел к нему на шаг ближе.

— Значит, умерла? Совсем умерла?..

— Да.

И они молча постояли так минут пять: один — в белье, с темными полукругами под глазами от переутомления, другой — в шинели кирпичного цвета, с небритым, суровым лицом.

— Гм, — сказал секретарь, — не по плану сделала...

— Надо созвать заседание партячейки, — сказал начмилиции. — Решить, как будем хоронить.

— Заседание? По поводу похорон? А она же... беспартийная?

— Да, беспартийная, — ответил начмилиции и побледнел. Потом он почувствовал, как у него болезненно сжались виски.

Потом они постояли еще с минуту друг против друга, затем секретарь оделся, и они пошли собирать заседание.

Пропели уже третьи петухи, но всюду было тихо. Только кое-где в окнах зажглись желтые огоньки. Это самые старательные хозяйки приступили к утренней работе. Потому что у трудящихся людей всегда есть работа.

На заседание партячейки явились все четыре коммуниста и шесть кандидатов.

В комнате зажгли сальную свечу, поставили ее на ящик пишущей машинки, и секретарь открыл собрание.

— Слово для информации имееет товарищ Гуща.

Кто-то отошел к порогу и высморкался. Сурово, долго. Потом сказал:

— Холодно.

В середине оконного стекла была небольшая дырочка. Она была заклеена бумагой, которая немного отклеилась и слегка шелестела от ветра. Однако никто не обращал на нее внимания, потому что все были в шапках и сидели кто заложив руки в рукава, а кто спрятав их в карманы.

Начмилиции взял слово для информации и рассказал собранию о смерти своей жены.

Четыре коммуниста и шесть кандидатов долго сидели молча. Потом секретарь подумал вслух о том, что нужно высказаться и тогда видно будет.

Стали высказываться.

Вначале один высказался о том, что смерть вот так всегда: нет-нет — и вдруг придет. И что люди ничего не могут тут поделать. Затем высказывались другие. Ведь всем было жаль ее, да что ж делать...

Но начальник милиции настаивал на своем:

— Я прошу похоронить. Чтобы комячейка приняла в этом участие. Поймите, товарищи!

— Как чтоб комячейка? Чтоб хоронила комячейка?

— Да. Не к попу же идти. Как, по-вашему? К попу?

Один коммунист взял слово и сказал:

— Тут, в самом деле... Момент. Мое мнение: момент серьезный и ответственный.

Остальные тоже согласились:

— Момент, что и говорить...

— Но ведь и комячейка...

— Какое она имеет отношение?

— Да и как? По какому способу ее хоронить?

Потом сказали:

— Товарищ Гуща, комячейка — это ведь не похо-

ронное бюро. Ну, умерла. Что же мы должны делать? Ты сам подумай. Ну, умерла...

— Да, но выход? Выход какой?

Снова долго, напряженно говорили.

— Главное, что выхода нет. В том-то и дело. Умерла. Смерть пришла. А как похоронить? Как? Главное, что отношения она к нам не имеет и никакого обряда у нас тоже нет. Только и всего, что жила с членом ячейки. Вот это главное. А отношения ж не имеет...

Уже давно расплылся и погас огарок свечи. В окно постепенно вливалось утро, заполнявшее светом уголки комнаты. А в комячейке шли беспрерывные дебаты.

Начмилиции поднялся. Походил нервно по комнате, делая четыре шага по диагонали и поворачиваясь на месте всем своим крупным телом.

— Ну? — спросил он, отворачиваясь к стене. И между его бровей легла глубокая печаль.

Но на этом заседании решили так:

Слушали:	Постановили:
О том, что у тов. Гущи умерла жена и как ее хоронить.	Поскольку комячейка не знает, как ее хоронить, и поскольку гражданка, которая умерла, посторонний для ячейки человек, беспартийная женщина, не имеет непосредственного отношения к комячейке, постольку и хоронить ее побоевому ячейка не считает возможным. И, кроме этого, нет у нас для такого случая обряда.

Был уже день. Проходил он в могучем, хотя и не очень сложном, шуме маленького центра. К исполкому подъезжали телеги, тарахтя об острые камни недоделанной мостовой. Через дорогу крестьяне гнали свою скотину на водопой. Раздавалось мелодичное мычание коров, были слышны отрывки разговоров.

Каждого ждала своя работа.

И все разошлись по своим местам.

Начмилиции пришел в свою канцелярию. Сел за стол. Дежурный милиционер доложил, что никаких

происшествий ночью не было, и стал пить воду прямо из ведра, которое стояло тут же, на подоконнике. Пил он долго, покрякивая от удовольствия, и струйки воды стекали по его усам.

— Только что позавтракал, товарищ начальник, — дружески улыбнувшись, сказал милиционер и старательно вытер усы. — Распоряжений никаких не будет?

Начмилиции провел несколько раз карандашом по столу, посмотрел на старый портрет Либкнехта, висевший здесь с незапамятных времен, и тихо попросил товарища:

— У вас, товарищ, есть жена. Вам уже пора смениться. Сегодня дежурит Гилка. Попросите свою жену и еще кого-нибудь из соседок, чтобы пришли ко мне домой. Моя этой ночью померла. Там нужно сделать что следует. Обмыть... И одеть. На стол положить. Вот только стол у меня маленький. Нужен побольше. На моем вряд ли ляжет...

Милиционер воскликнул: «Да что вы!», — потом наклонил голову, перешел к другому столу и сказал:

— Э-эх... Тяжело ведь вам...

И ушел.

Начмилиции посидел немного и тоже ушел. Он ничего не ел со вчерашнего дня, не спал уже вторые сутки, — от этого болела голова и дрожали ноги.

Перед дверью своего дома он остановился. Долго не мог отыскать ключ. Потом припомнил. Ключ он положил в боковой карман.

Открыв дверь, он постоял немного на пороге, потом вошел в комнату и снова долго смотрел на покойницу. Ее веки совсем застыли, глаза были полузакрыты. На полу лежала малиновая фуражка. В «румынке» черная головешка.

Начмилиции стоял долго, до тех пор пока не пришли две женщины. Они стали убирать в комнате, потом занялись покойницей. Одна из них потрогала кончики пальцев покойницы, видневшиеся из-под одеяла. И, посмотрев озабоченно на жену милиционера, посоветовала и той:

— Возьмись, возьмись, подержи за ногу... чтобы не приснилась.

Жена милиционера с минуту колебалась, потом тоже прикоснулась к холодным пальцам и вздохнула. Они притащили второй стол и, тихо перешептываясь и крестясь украдкой, занялись покойницей.

Начмилиции достал бумагу и, наклонившись возле окна, стал писать.

Задумавшись, он послюнявил химический карандаш и написал первые строки:

«В Крутоярскую комячейку.

От тов. Гущи, члена КП/б/У

Заявление»

Но, написав это, он отложил в сторону карандаш и долго водил ногтем по холодному, звонкому стеклу, расписанному морозом и снегом. Потом он сдвинул брови насколько было возможно, так что они уперлись одна в другую, точно концы обожженных, обитых ветром снопов, и стал писать. Он сидел, не разгибая спины, и подолгу обдумывал трудные места, водя карандашом по пересохшим губам.

Женщины давно уже убрали в комнате. Одна из них осталась возле покойницы и дремала от усталости, подперев голову рукой. Другая пошла к соседям.

Пролетел короткий зимний день, и снова наступил вечер. А Гуща все шевелил спиной, вздрагивая над бумагой, до тех пор пока совсем не стемнело.

Наконец он поднялся, сложил заявление и, засунув его за обшлаг шинели, снова пошел к секретарю.

Опять собрались в партячейке четыре коммуниста и шесть кандидатов. Начмилиции просил пересмотреть его дело.

Секретарь долго молчал. От напряжения его голова сделалась тяжелой. Он чувствовал, что на груди у него выступает пот. Тогда он, не открывая собрания, стал высказывать вслух свои мысли:

— Ну как мы будем идти за гробом женщины, которая померла себе потому, что смерть к ней пришла, и ни в какой борьбе она фактически не погибала?

Идти и петь, да еще, говорите, с музыкой?.. И знамена, кто-то говорил. Какие же у нас знамена? И потом крестьяне скажут: «Смотри, как начальникову жену, так вон как хоронят. Чем же она лучше других?»

— А по-твоему, товарищ секретарь, как? Зарыть человека, как... кто знает что, да и... А какое это оставит впечатление? А если бы у тебя жена померла? Или у меня... — сказал начмилиции и замолчал.

Секретарь тоже молчал.

Потом поднялся один коммунист, стиснул зубы и поглубже надвинул на глаза «плетенку».

— На смерть шел, добра б тебе не было, — сказал он и углубился в свои мысли. — На смерть шел, ну, а такого я еще не видал. И что делать, убей меня — не скажу.

Сидевший в углу добавил:

— Главное — нет у нас еще новых обычаев. Поле деятельности для тебя ясное. Всех паразитов раздавили, а обычаев нет. А где их взять? Это тебе первый факт. А второй гвоздь, что все равно найдем. Найдем и создадим, из-под земли выкопаем. Так это себе и знайте, товарищи.

Но это и так все знали. Но как быть сейчас? На практике...

И думали: «Выход-то найдем, а пока что неясно...» И поэтому так тревожно бились их сердца.

— Выход у меня единственный, — сказал начмилиции, пятясь к двери.

— Отвезти на телеге на кладбище и похоронить самому? — спросили товарищи.

— Выходит, так.

Все ощутили глубокую боль поражения.

Тогда начмилиции положил на стол «заявление».

— Как знаете, товарищи, — сказал он.

Затем повернулся к ним своей широкой спиной, сгорбился и вышел.

Вышел он на тихую улицу, посмотрел на звезды. Спокойные и недосягаемые, горели они над землей. Сквозь окно начмилиции услыхал шум в ячейке. Перед его глазами встала в ту минуту его одинокая комната,

узорчатые окна и «румынка» с черной трубой, воткнутой в стену. Возле нее обгорелая головешка сосны. На столе лежит жена в белом одеянии, в черных башмаках. И он решил:

«Нет! Один я не повезу ее на тачанке. . .»

. . . .

Секретарь взял со стола бумагу и расправил ее у себя на колене.

— Товарищи, я думаю, начнем заседание, — произнес он безнадежно. — Вот я прочитаю вам сначала это заявление.

«В Крутоярскую комячейку.

От тов. Гущи, члена КП /б/У

Заявление»

Секретарь остановился на мгновение, посмотрел на товарищей и, вздохнув, продолжал:

— «Товарищи, вы все члены партии и кандидаты КП(б)У, тут я не буду много об этом писать. Мне больно говорить за беспартийную, но мертвого из гроба не вернешь. Намучалась она за свой короткий век довольно. В декабре 1919 года стояла лютая зима. Я тогда командовал партизанским отрядом в другом уезде, где пропадали мы, как собаки. Там я и познакомился с ней. Она еще не была моей женой, но не раз выручала меня из беды. Может быть, это ради меня и несознательно, однако революция победила, а моя жена, спасая меня от дроздовских офицеров, направляла их по ложному пути, бегала ко мне в овраг чуть ли не босой и застудила себе грудь, потом стала кашлять. Меня не волнует, что там говорят, будто бы она гуляла до меня с кем-то другим, лишь бы не с врагами революции, которых она и близко не подпускала к себе, об этом я заявляю вам честно, как коммунист. Теперь я вам скажу. Вы знаете бандита Пшеничного. В трибунале знают, что я его поймал и собственной рукой застрелил, как предателя. Он раньше тоже был в партизанском отряде. Кто такой Пшеничный? Предатель, который за фельдфебельские нашивки продал трех коммунаров, и их повесили в городе, на-

против кавалерийской школы. Это ее брат. Она сама указала мне место, где скрывался ее брат, и я расстрелял его; и она сказала потом: «Собаке — собачья смерть». Не раз еще нам приходилось быть в тяжелом положении, и хотя бы раз она, эта беспартийная женщина, подорвала мой дух или не поддержала меня, когда нужно было. Об этом никто не знает, а я считаю, что жена коммуниста, если она не из врагов, а из своего класса, есть борец за революцию, которого мы обязаны похоронить как товарища. Правда, это было давно. Прошли годы, и она умирает мирной гражданкой. Это ничего не значит. Что же я должен делать? Положить гроб на телегу и самому отвезти ее на кладбище? Так вроде получается. Но я этого не сделаю, а ячейка должна найти какой-то выход из этого несчастья.

У меня и так больно на сердце и тяжело об этом говорить. Я только надеюсь на вас, как на коммунистов, что вы придумаете, как показать массам трудящегося крестьянства, что ячейка и в таком случае указала путь, хотя тут и не жизнь, а смерть.

На этом заканчиваю свое заявление.

«Чл. КП(б)У Гуща».

Секретарь умолк. Один из десяти человек поднялся, подошел к столу и сказал:

— Что же мы придумаем? Это справедливо написано в заявлении. А ну, скажи, что нужно сделать.

— У нас есть знамена? Почти нет. Музыка у нас есть? Нет. Похоронное пение? Нет... «Смело, товарищи» да «Вы жертвою пали», больше ничего и не знаем...

— Еще «Интернационал».

Умолкли.

— Нет, сюда «Интернационал» не подходит. К чему тут «Интернационал»? Что же ты будешь петь? «Вставай, проклятьем заклейменный...»?

— Нет, не подходит.

— И опять же «Смело, товарищи» не подходит...

Долго молчали, свертывали цигарки, рассматри-

вали собственные сапоги. Потом поднялся секретарь и громко заявил:

— Нужно посоветоваться с массами.

— Нужно, — согласились все.

— Созвать бедняков. Это давно бы надо сделать. Вместе и решим.

— Товарищи, уже очень поздно. На колокольне пробило два.

— Завтра утром и решим.

— Непременно завтра надо решить.

...На этом они покончили и разошлись по домам.

Занимался рассвет. Это был уже третий день.

Секретарь не ложился совсем, только курил папиросу за папиросой, глубоко затягиваясь терпким табаком. Теперь он обдумывал, как быть со знаменами. И вот у него возникла такая мысль: «В кооперативе есть свое знамя? Выход!» Как это ему раньше не приходило в голову?.. Вот только на нем, на том знамени, написано:

СМЕРТЬ ЧАСТНЫМ ТОРГОВЦАМ
И СПЕКУЛЯНТАМ!
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦИЮ
ПРИДЕМ К СОЦИАЛИЗМУ!!

«Надпись-то ничего сама по себе. Надпись хорошая, однако же...»

Секретарь приложил свой лоб к стеклу и почувствовал облегчение.

В сенях брякнула щеколда. Пришли члены ячейки и бедняки. Долго они топали ногами в сенях — обивали снег. В открытую дверь врывался жгучий мороз.

Вошли. Сели. В комнате осталось незанятым только пространство, которое было у них над головами.

— Порядок дня у нас тот же самый, — объявил секретарь. — Давайте практически...

— Прошу слова, — сказал бедняк, протягивая вперед руку.

Ему дали слово. Он потер ладонями колени и сказал:

— От бедноты будет человек двадцать пять — мужских и женских.

— Как? Разве вы уже говорили об этом у себя?

Бедняк поднял на него карие, широко открытые, как у ребенка, глаза, игравшие в сиянии невеселых морщин.

— Да, мы говорили об этом, товарищ секретарь, — сказал он, дыша на руки.

И сразу заговорили все.

— Раз покойница была такой женщиной еще в девятнадцатом году, а потом, обратно, вышла замуж за начальника, так и следует похоронить ее по-советски. Считаем, что заслужила. Да и народу тут пойдет видимо-невидимо. Народ, думаете, так-то уж и держится за батюшку. Ясно всем, к чему клонится.

Секретарю стало неловко, что так неожиданно все стало ясным. Он посмотрел на всех, повеселел и не то спросил, не то поддержал:

— Это ж другое дело. Это я понимаю. Похоронить по-советски — это же совсем не означает, что будет идти одна только ячейка и петь «Вы жертвою пали». Товарищи! Теперь, значит, о знаменах. Со знаменами? Как вы думаете?

— Вот тебе и на! Конечно!

— Собрать все знамена, которые есть.

— А какие же у нас есть? Так их же нет...

— Есть, — сказал секретарь. — Хорошее знамя есть в кооперации. Только что надпись на нем «Смерть капиталистам» или что-то в этом роде...

— Надпись правильная.

— Да она правильная, а вроде не подходит для такого случая, — заметил бедняк с карими глазами. — А нельзя ли стереть буквы?

— А чего же? Наверное, можно.

— Э, нет, — заметил второй, — стирать не нужно. Зачем же портить такую вещь? Можно перевернуть надписью вниз и так накрыть гроб.

Так и решили — перевернуть словами книзу и накрыть гроб. Так будет даже торжественнее и вообще

лучше. Беднякам и членам ячейки явиться на место к двенадцати часам для выноса тела. А второе знамя, хотя оно и маленькое, взять в сельском клубе.

Секретарь с облегчением записал постановление в протокол и потом сделал выписку.

Обессиленный горем и ожиданием, начмилиции получил утром пакет. Разорвав пакет, он приблизился к столу, на котором лежала покойница, и, склонив над нею свою тяжелую кудрявую голову, стал читать:

Выписка из протокола № 127
заседания Крутоярской партячейки КП(б)У

Слушали:	Постановили:
О погребении гражданки Гущи.	Похоронить жену члена ячейки КП(б)У тов. Гущи по советскому обряду. Вынос тела назначить на 12 часов дня. В выносе принять участие и отнести тело на кладбище персонально всем членам ячейки совместно с бедняками и с пением революционных песен под красными знаменами.

(Подписи)

На отдельном листочке секретарь писал:

«Тов. Гуща, не серчай, брат. Сам знаешь, как нам тяжело. Опыта же в этом у нас нет никакого. Подтянись.

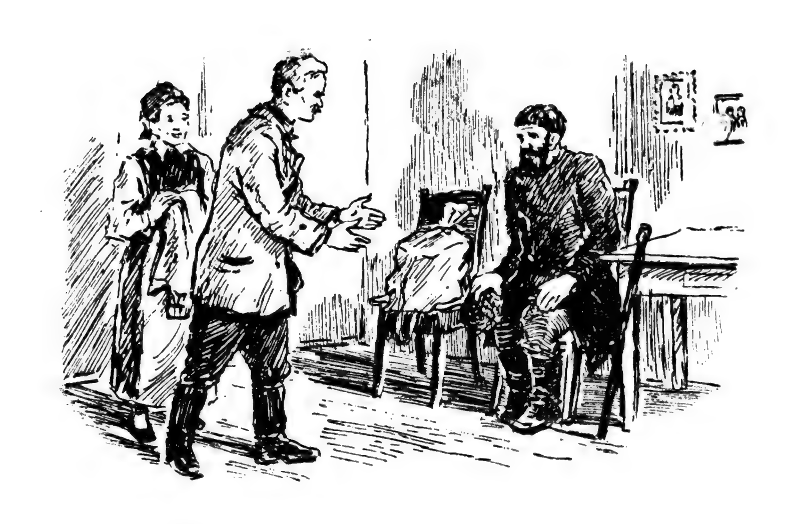
С ком. приветом твой...»

Начмилиции разгладил брови и разбудил двух женщин, которые спали, сидя на стульях. Он стал перед ними и еще раз громко прочитал выписку.

— То есть как же это? — произнесла одна из женщин, больше для себя, и заморгала глазами.

Он положил бумажку в карман и молча, гордый, вышел из комнаты.

Одесса, 1925



БРАТЬЯ

Умирая, старый Сахно говорил своим сыновьям:

— Трудно сейчас достаются и земля и деньги. Трудно, дети. Все, что имею, возьмите, а остальное добывайте сами. Пристала земля к помещикам, пока вырвешь кусочек ее, хоть с горсть, так и жизнь пройдет... Да, живя дружно, как-нибудь прокормитесь. Ремеслом не занимайтесь, потому — что ремесленник, что рабочий люди легкомысленные. Сегодня был, а завтра нет, и пепла не осталось. Ну их. Не смотрите на тех, которые идут на хвабрики и сахарные заводы. Идут они на легкий хлеб, да там и подыхают. А на земле хотя и тяжело и горько, но все-таки есть надежда на бога, коли товар у порога. Намыкался и я за свой век, да и вам бог велел. Не чурайтесь земли, даже если клочок ее небольшой и не щедрый.

Трое сыновей, как три дуба, стояли перед отцом и

внимательно слушали. Три сына, на год один другого старше. Прохору восемнадцать, Семену девятнадцать, а Никанору двадцать. У Никанора уже и черные усы закрыли верхнюю губу, — такие были когда-то и у отца.

Стояли, думали каждый о своем.

Никанор трижды перекрестился и, наклонившись над постелью отца, сказал:

— Как наши отцы жили, вечная им память, так и мы жить будем. Одарил их бог умом, так и нас наделит им. А земли хотя и клочок, но ухаживай за нею — и она не забудет трудов твоих. Мы хотя и бедные, но честных родителей дети. Умирайте, батя, спокойно, как вам бог велит, а я все сделаю по вашему закону и братьев на ноги поставлю. Умирайте спокойно.

Так и умер Сахно. Похоронив отца, сыновья стали жить, а слова, сказанные покойному, давно канули в вечность.

И так достаточно рабочих рук в семье, а тут еще и Никанор женился. Стал он вместо отца главным, а это, кроме ссор и греха, ничего не приносило в семью. На работу все горячи, возьмутся, бывало, за дело — горит под руками: три клочка земли по комку переберут, каждый сорняк вырвут, как пух станет поле. А придет осень, придет зима — каждое зернышко рассчитывай, масла купить не на что. В пост тоже у людей приходится хлеб одалживать, да еще и отрабатывать.

А Никанор все думал:

«Пускай. Не мы последние. Бьются люди, да и хозяевами становятся. Может, и мы не хуже их сумеем в люди выбиться».

Не раз говорил ему Семен:

— Пропадем как мухи осенью. У одного Варуна десять тысяч земли, а в селе на пятьсот дворов и половины не приходится. Как же ты выбьешься?

И Семен стал выпивать.

А Прохор, самый младший брат, пожил вместе с год, а потом стал ходить на заработки в экономию. Что заработает, все в общий котел отдаст. А оно в нем и не заметно, будо капля в море.

Потом и Семен женился. Не разрешил Никанор делить хозяйство:

— Живите вместе. Ведь делить-то нечего. Лишь бы только землю дробить?

Так и жили. Никанор чернел, обрастал волосами да все на хозяев поглядывал, Семен выпивал, а Прохор начал бунтовать. Проработал сезон у помещика, а денег получил столько, что даже одежонки не купишь. Разве ж это жизнь? И так весь свой век? И света не увидеть? Когда же оно лучше будет?..

Вырос Прохор — парень на славу. Глаза смелые, кудри буйные и черные как ночь, сила в руках огромная. Ударит кулаком по столу — хата задрожит. Да только не весел он, все о чем-то думает, а тут еще книгу какую-то достал, прячется с ней. Не по душе это Никанору.

— Слушайся меня, — говорил ему Никанор.

А тот лишь посмотрит на него в упор: будешь, мол, тут слушаться...

Чудной какой-то он стал.

Шли однажды братья с работы. Шел дождь, в поле было мокро, а на дорогах стояли лужи. Остановился Прохор возле креста и стал закуривать. Пальцы у него окоченели, никак папиросы не скрутит. А в это время вдруг налетел автомобиль помещика, загудел и грязью, летевшей из-под колес, с головы до ног обдал его. И руки, и лицо, даже глаза забрызгал.

Автомобиль полетел дальше, оставляя за собой синеватый дымок. Никанор, на что уж не любил смеяться, но и он скривил губы, усмехнулся в усы. «Что ж это ты, разиня, не свернул с дороги? Нужно быть осторожным, им некогда смотреть по сторонам, когда машина мчится, даже в ушах свистит». А Прохор несколько минут стоял в грязи, даже не двинулся с места, лишь выбросил папиросу, потому что она совсем раскисла от грязи. Он стоял молча, стиснув зубы, глядя вслед удалявшемуся автомобилю. Глаза у него горели странным, затаенным огнем. На его висках напряглись жилы, и он будто хотел броситься вслед машине, разбить ее, опрокинуть господ в грязь. Но

потом он вытер лицо и поплелся дальше, меся босыми ногами топкую грязь на меже.

После этого он долго не разговаривал с Никанором, будто тот был в чем-то виноват перед ним.

И вот однажды, глубокой осенью, когда по улицам села разъезжали казаки и нельзя было даже лампу зажечь, Прохору еще тяжелее стало. На сердце тоска. Перестал разговаривать с людьми. Выйдет, бывало, за ворота и стоит... А над мрачным горизонтом плывут грозные тучи, будто где-то возник страшный пожар и серый горький дым от него разносится по всему миру.

— Не могу я, Никанор, — сказал он брату. — Ты себе как хочешь, а я не могу.

— Чего же ты не можешь? Не поймешь тебя...

— Давит меня. Терзает... Правду говорил тот человек, что ночевал у нас: задавят они людей всех до одного. Убегу я, наверное, куда глаза глядят. Может, найду лучшую жизнь.

— На фабрику, может, или куда? — насмешливо спросил Никанор. Напомнил брату слова отца, сказанные перед кончиной.

— Эх! — ответил Прохор. — Ничего ты не понимаешь, Никанор. Что отец? Он лежит в земле. А жизнь? Она будет спрашивать не с отца, а с нас. Ты вот все присматриваешься к хозяевам, да не быть тебе хозяином, так и помрешь в нищете. Скорее пойдешь к ним батрачить. А я не хочу, будь они прокляты! Лучше пойду куда-нибудь, где легче дышится. Ведь тут и пропадешь ни за что. Не знаю, может, и на хвабрику. Ничего не знаю... Когда ездили мы с подводами в город, так, знаешь, с нами случилась странная история. Вот послушай. Лежим мы под возом. Лошади похрапывают, выбрасывая мякину из мешка. Так всегда бывает. Еще с детства помню. Да, так ты спишь, а я курю. Как раз занимается заря. Туман стоит над городом, а за тюрьмой небо чуть-чуть краснеет. Лежу, покуриваю, вдруг этот гудок как засвистит! Один, потом второй, потом третий. Гудок за гудком. Знаешь, так, как поет кто-нибудь, у кого голос такой сильный, что аж хата дрожит, будто крышу сорвать

хочет. А тут так небо дрожит от гудков. Кто его знает, что со мной случилось. Будто меня сглазил кто. Гудит до сих пор.

Никанор сделался мрачным, пожал своими широкими плечами.

— Гудок, чтобы шли на работу. Вот и все.

— Да, понятно, на работу. И вот я лежу, пиджак у меня загорелся — жаринка упала на него, — а я и не чувствую. А у нас, думаю себе, петух только на рассвете... Ку-ка-ре-ку! .. Выйдет мужик во двор, почешет затылок. Темно. Собаки лают. А тут еще, сказывают, казаков на постой пригонят. И в экономии житье собачье. Нигде от него не спрячешься, хоть с моста да в воду.

— Ну, а потом что? — глухо спрашивает Никанор.

— Встал я, подкинул лошадям. Ни души вокруг. А я не могу, слышишь, — гудит.

— Тянет, что ли?

— Тянет. Да как тянет! Если бы так просто, а то тянет — и все. Да тянет за живое, будто за сердце тебя сосет. Стою, а в голове кровь стучит. Странно. Сорвался я — и айда. Прибежал к заводу, стал за корпусами, а они как раз в ворота идут... Идут, как эта черная вода. Ни остановить, ни повернуть... Никакая сила. Темно, серое утро, черные высокие корпуса. Рабочие с фонариками. Докуривают папиросы, бросают окурки, притаптывают их ногами — и в ворота, в ворота... Только фуражки шевелятся да кто-нибудь иногда выругается. А глаза, тысячи глаз, блестят, блестят, да так и сверлят тебя. Кажется, если они пройдут по земле — с ног собьют, железом закидают.

— Кого?

— Кого? В том-то и штука... Это ты у них спроси. Наверное, они знают, кого. Постоял я еще немного, пока все прошли. Слышу, зашумел корпус, заревел. Пекло да и только. А оторваться не могу. Подходит ко мне стражник. «Ты, говорит, чего здесь маячишь? Проходи, любезный, если не хочешь попасть в кордегардию. Спокоя из-за вас, говорит, нет». Я словно проснулся. Иду по городу. Только-только выглянуло солнце. Смотрю, партию арестантов погнали.

— А тебе какое до этого дело? Заработали — вот и погнали. Сиди на земле, работай честно — никто не погонит.

— Не погонит, так в землю загонит. Я уже вижу. Ты вот хотя и брат мне, а душа у тебя черствая. Каменная она у тебя, что ли? Нищий, а кожа толстая, как у дуба. Ну и работай на них сколько хочешь.

— На кого? Работаю на себя. Что заработаю, то и мое. Знаю, что мое, потому — заработанное, не даром.

На это Прохор уже ничего не ответил брату. Махнул рукой и пошел.

Вытащил он из плетня палку, положил в карман кусок хлеба да горсть махорки и пошел.

Куда пошел? За чем пошел? Неизвестно.

Зашел утром Никанор в овин.

— Прохор!

А его и след простыл.

«Пошел-таки на легкий хлеб, — подумал Никанор. — Ну, иди же и не возвращайся, прощелыга, если у меня душа черствая. Вишь, мужиком быть опротивело. . .»

Тяжелее всего переживал Никанор то, что Прохор подался в город. Пускай бы он снова пошел на сезонную работу, трудился бы на земле, авось собрали бы на какую-нибудь лишнюю десятинку. А пошел в город — забыл, как пахнет земля, как всходит рожь, все позабыл — и дом, и родню. Затерялся где-то между городскими господами, которые так и смотрят, где бы поживиться, которые только того и ждут, когда мужик привезет им с таким трудом добытый хлеб. . . На завод пошел, легкого хлеба захотелось, будто отцы наши не землю святую пахали, а где-то по трактирам шатались да тарелки там лизали и на даровщину с завода жили. Что за работа на заводе? Чуть ударил, постучал, а есть требует.

Ненавидел Никанор городских жителей. Для него все они были одинаковы, все господа, разодетые, чужие, лицемерные.

А о Прохоре ни слуху, ни духу. Только через несколько лет пошли глухие слухи о том, что начались

беспорядки, поднимались восстания. Угнали куда-то по тюрьмам не сотню и не две бунтовщиков. Где-то там попался и Прохор... Пускай уж терпит и об отце вспоминает. А если и после того он не придет, не возвратится к себе в дом, туда ему и дорога.

С тех пор Никанор совсем зарос черной кустистой бородой, сгорбился от тяжелого труда, натрудил себе большие, твердые, как фасоль, мозоли на руках. Этими руками он держал и винтовку, бил ею с размаху, просто прикладом по окнам и столам, когда громили экономию, бил тупо, с отчаянием и почти совсем без слов: от чистого сердца. А потом так же тупо взялся за ручки плуга, зажал их своими мозолистыми руками и снова молча стал пахать землю. В двадцатом году, когда проходили отряды, где-то исчез и Семен, подхваченный могучим пламенем борьбы, откуда-то достал он себе коня и ушел, бросил жену — неизвестно теперь, вдова или не вдова, горюй одна на свете. А когда все кончилось, Никанору прирезали земли, что полагалось на едоков.

А едоков у него теперь хватает. Он начинает работать на заре, а ложится спать поздно ночью. И все такой же мрачный.

Он будто и теперь не верит, что власть в их руках. Начнет говорить — слушают его. На какой-то съезд избрали. Поехал туда, там тоже выступал — слушали. Но все-таки не верит. «Мужики мы, говорит, вот и все. Душа у нас черствая. А у них, видишь, мягкая». И у него даже голос надломился. На город ропщет по-старому. Ненавидит и не верит. Он даже не знает границ своей темной, тупой боли — она пропитала его, как горьким пóтом. Революция, мол, закончилась, а теперь вон как! А что и как — того не может понять. Только еще больше терзает себя.

Никанор часто думает о Прохоре, но никому об этом не говорит. И в семье молчат. Только в душе Никанора день и ночь тлеет надежда. Не может он смириться.

Так и живет.

Вот он приехал с поля. Стал посреди хаты, шапку повесил на колышек в перекладине, что подпирает

старый, неровный потолок. Косматые брови нависают ему на глаза, свитка висит на нем, как дубленая, — он работал под дождем, на холоду.

В доме за божницей лежит давнишнее письмо. Никанор посматривает на божницу, потом долго еще стоит посреди хаты, опустив руки, словно две тяжелые, уродливые кочерги.

— Ужинать! — говорит он густым, как земля, голосом.

Семья возится возле печки, жена грохочет ухватами, вытягивает горшок.

— Может, ты руки помыл бы? — говорит Никанориха.

Он молча снимает свитку и садится за стол.

Отломив кусок хлеба, говорит:

— Мы не господа, в городских трактирах не обучались.

— Да у тебя же навоз на руках! Разве тяжело вымыть их?

— Не рассуждай! Из этого навоза хлеб едим.

Огромная семья молча, виновато усаживается вокруг стола. Ужинают.

Младшая дочь не выдерживает, поднимает на отца свои любознательные черненькие глазенки.

— Тятя, а дядя Плохол разве в тлактилах едят? А со же они там едят, дядя Плохол?

Все сразу же положили ложки на край огромной желтой миски и поглядели на Татьянку.

— Жевала бы уж молча!

В лампе кончился керосин.

Никаноpиха подкручивает фитиль, и он удушливо чадит темно-красными языками. Над пустой миской в последний раз опрокидывается горшок величиной с ведро.

Густо заправленный свеклой, булькает в миску борщ.

— Ешьте, дети, — говорит Никанориха, — крестите лбы — да и спать!

С десяти точек, через весь стол, сходятся над миской ложки, брячают слегка одна о другую и шевелятся, загребая питательную жидкость. Потом они

плывут обратно. Левая рука подставляет под ложку кусочек хлеба, чтобы не разлить борщ. Во время ужина языком болтать не положено.

Хлебают молча.

После еды могучая фигура Никанора поднимается с красного угла. Никанор вытирает бороду и, глубоко икнув, уходит из-за стола.

— «. . .яко насытил еси нас. . .» — выдавливает Никанор из груди и поднимает для креста черную узловатую руку. — Погаси лампу, пускай не смердит, — говорит он старшей дочери.

Она дует на лампу, и из раскаленного, закопченного стекла, точно из настоящей трубы, валит густой керосиновый дым.

Потолок, кажется, оседает еще ниже и ниже. Теперь он погружается своими буграми в темноту, которая нырнула из уголков и окружила Никанорову семью.

Семья двигается, вздыхает, шелестит соломой. Отец снимает сапоги и бросает портянки на печку, словно в темную пропасть.

Старший сын, Вася, уходит спать к лошадям.

В хате постепенно все смолкает, только невидимые кузнечные мехи будто посапывают в темноте.

Никанор лежит на лавке. Не спит. Шевелит бровями, вглядывается во мрак и думает.

«Когда пришлось зажигалками на жизнь зарабатывать, так, вишь, сразу разбежались по дворам, хвосты поджали. Конечно, на зажигалках не прокормишься. Пролетария. И заводы хваленые побросали. На все рукой махнули. Поехали на село, да и в ножки кланяются. А отпустим им немного петлю — снова пойдут на легкий хлеб. . . Только мы до сих пор тут спины гнем, жуки, вечные труженики. А ты сидишь при илистричестве да газетку почитываешь. И душа у тебя добрая».

Никанор перевернулся на другой бок, натянул на себя тулуп. У него ныл крестец, — наверное, он застудил его, потому что после обеда немного полежал на сырой земле.

«Разве ж у нас так бывает: какие-то часы отрабо-

тал — и сам себе господин... Одно у нас время — вся жизнь. Как на тебя земля упадет, тогда уж ты свободен, отдыхай».

Тупая, черная волна злобы подошла у него к груди и затопила горло.

«Еще и языком треплют: да мы для вас, да мы к вам вон как хорошо относимся, город — это же брат селу... Родственники! Тело наше есть, запивать нашей кровушкой да папиросами закуривать. А как же! Родственники! Родные братья! У тебя сын на илистричестве практикуется, а мой в навозе, как тот червь, копошится, а дочери полой пол метут да своей тяжелой судьбы поджидают».

Он тяжело вздохнул и протянул руку к махорке, лежавшей на окне. Оторвал кусок жесткой бумаги, помял ее пальцами и, расправив на ладони, насыпал мелкой махорки. Закурив, он снова долго лежал с открытыми глазами, а в губах у него вспыхивала толстая головка цигарки. Иногда она чрезмерно светилась синим огоньком, и от него потрескивала у Никанора борода. Глубокие затяжки вливались в грудь густыми тучами, точно свинцом наполняя легкие.

Наконец Никанор погасил пальцами окурок и снова вздохнул, придавленный мраком.

«Приезжай в гости». Соскучился, видишь ли... Да вот подожди, приеду. Увижу, как будешь угощать мужика с черствой душой...»

Только поздно ночью, когда в мраке шумел одинокий ветер, и терзал берестовые деревья, да бился мокрыми, холодными крыльями в окна, Никанор наконец уснул каменным сном.

Но только забрезжил рассвет и по углам зашевелилась семья, он проснулся. Широкая пасть печи выбрасывала гибкие столбы дыма.

Никанор встал, подошел к скамье и, набрав в рот воды из старого, когда-то синего кувшина, начал умываться. Он брызнул на руки и потер ими под глазами, возле носа, там, где не было бороды. Вытерев лицо какой-то тряпкой, он сел к столу.

— Федька, где то письмо? — спросил он.

Мальчик, собиравшийся уже в школу, полез за божницу и подал отцу письмо Прохора.

— Вот. Тут уже и букв нельзя разобрать. Если его каждый берет да мнет...

Отец подержал письмо, свернул и снова развернул его.

— Что он там пишет?

— Да я уже читал вам. Буквально все перечитал, — с достоинством ответил мальчик. — Вон я в школу опоздаю.

Никанор молча подержал еще письмо, потом сказал:

— Завяжи-ка мне буханку.

— Батя, куда вы пойдете? — спросила его Татьянка. — К дяде к Плохолу?

— Ох, ты уж тут как тут! — загремела на нее Никанориха. — Ты бы лучше умылась да стала и «отче наш» прочитала. Какая любопытная!

Татьянка надула губы, засопела.

— А со же? Разве сто?

Никанориха молча приготовила мужу сумку. Он надел ее и пошел...

И когда широкая отцовская фигура прошла уже гористую дорогу, со двора бросился за ним Вася; что-то кричал он навстречу ветру. Но отец не поворачивался. Только белая, разбухшая, как горб, сумка болталась на спине, постепенно исчезая в глухой лощине. Ветер с дождем и с запахом овощей возвращал к Васе его слова:

— Ба-тя-я-я! Смотрите же, на меха-ника... Батя-я-я!

Вася еще долго стоял у ворот — смотрел на топкую осеннюю дорогу, которая извивалась по лощине, а затем, выгнув свою разбитую, утрамбованную сапогами спину, снова выползала из-за холмов, теряясь в серой от моросящего дождя и туч, безлюдной и холодной степи. На холме показался отец, он с трудом вытаскивает из грязи ноги. Вот он остановился и стал медленно очищать сапоги толстой грушевой палкой. Он тяжело опирается на палку, конец которой глубоко ушел в землю. Потом Никанор пошел дальше. Только

разбухшая, как горб, сумка виднелась на спине. Вася думал тоже медленно, но все же быстрее, чем шел его отец. И вот в Васином воображении возник город с его сияющими огнями, а над молочной пеленой города льется-разливается море света. Отец подходит к предместью, ступает на мостовую, вынимает из кармана скомканное письмо и читает, где именно нужно искать дядю Прохора. Потом он снимает шапку, вытирает лоб, на котором от ходьбы выступил пот, в последний раз очищает сапоги и идет уже по освещенной фонарями улице, утопая в потоке людей...

Сколько раз мечтал Вася о том, чтобы увидеть дядю и Мишу! Только они, наверное, и могли бы понять, как ему хочется стать механиком. «Ведь они живут в городе, и работа у них, наверное, совсем другая. Вот в прошлом году из города приезжали ребята, так разве их можно сравнить с нашими! Наши боятся слово сказать, а они такие смелые, от них пахнет мазутом, за словом они в карман не лезут».

Почему это так, что даже смазчик, работающий возле паровой машины на мельнице, и тот не такой, как они, парни, сельские ребята?

«Ему ничего не страшно, лишь бы машина работала. А начнет разговаривать — получается так, будто эта машина ему принадлежит.

А здесь... Отец все сердится, все ему не так, а как — он и сам не может сказать. Хотя бы в артель записались, трактор был бы... А трактор как зашумит, даже поле гудит! Да все им не верится. «Протракторимся», говорит. А разве так мы не вылетим в трубу? На лошадь что-то напало, какие-то волдыри появились. Ну его к свиньям с такой работой! Говорил я им, что хочу быть механиком, да разве они послушают!»

Он склонился на плетень и смотрел в степь уже равнодушным, тупым взглядом. Из-под шапки выглядывал клок скомканных волос, на него падали крупные капли дождя. Вася насвистывал что-то тоскливое и тягучее.

Из хаты кто-то вышел, стукнув дверьми.

— Чего ты здесь торчишь, малый? — услыхал он

голос матери. — Делать тебе нечего, что ли? Пойди скотину напои.

Вася вздохнул, помрачнел и пошел поить скотину.

На предместье надвигался вечер. В четыре часа на заводах загудели гудки, ударили о стены своими могучими голосами, взвились в небо баритонами и умолкли. Улица будто упивалась сумерками: темнели окна, потухали желтые пятна ларьков и синие околышки церабкоопов. Кирпичные этажи складов мрачно давили на соседние приземистые домики с побитой черепицей. Из трубы кожевенного завода валит нестерпимый запах, будто там засели члены «Доброхима».

Прохор Сахно энергично сплевывает в ту сторону, откуда доносится этот запах, берется за кожаный козырек, надвигает пониже фуражку и переходит улицу. Его налитые руки, словно рельсы, тяжело раскачиваются во время ходьбы. Высокая фигура с немного впалой грудью медленно шагает по мостовой. Ему около сорока лет, но по виду можно дать и пятьдесят. Щеки перерезаны двумя полосками, в которых осела сажа. От коротких, неровно подстриженных усов, жестких и торчащих, губа его казалась перетянутой проволокой. Виски покрыты густой сединой, а над серыми пронизывающими глазами лежат, будто две копны сена, пышные черные брови. Они придают его лицу какое-то странное выражение — суровое и в то же время спокойное, теплое.

— Старик уже нахмурил брови! — смеялись сегодня в литейном цехе. — Что ты все думаешь? Плюнь, все равно ничего не придумаешь!

Прохор молча лил в формы белый чугун, ослепительный блеск которого отражался на его лице.

— Чего ж, может, что-нибудь и придумаем.

Обычно, перед тем как зайти в литейный цех, рабочие усаживались на железных брусьях, лежавших вдоль стены, и беседовали.

— Чего тебе думать? Это мне как помирать придется, так я и помру прямо тут, вот на этих подуш-

ках, — сказал один из товарищей и постучал мундштуком о железо. — А тебе чего? В селе родичи есть, а ты еще думаешь!

— Да, это ты правильно сказал. Родичи... — сказал Прохор и сплюнул. — Только если уж ты собираешься помирать, так я тебе и адрес к ним дам — иди.

Рабочие иронически улыбались: знаем, мол... После этого вели разговор о сдельной оплате, потом о том, что, наверное, в селе сейчас играют в «валета» или в «козла», курят самосад и плюют на все. Перебирали в памяти кто далекое прошлое, кто недавние приключения — это когда ходили по селам менять вещи на хлеб. И каждый с усмешкой вспоминал, как мужик доставал совок муки и сыпал ему в сумку, боясь рассыпать хоть крупицу. Потом читали газету и спорили. А когда в сердцах начинали спорить, кто-нибудь обязательно задаст вдруг вопрос Прохору: «Как твое мнение?» Старик, который вдоволь нанюхался пороха, поднимет черные брови, пошевелит усами и скажет несколько слов.

...Гудок прогудел в четыре часа. Прохор повесил свой номер на табельную доску и пошел. Руки, налитые, будто рельсы, тяжело болтаются на ходу.

Надвигается вечер. Дети с криком опрокидывают на углу улицы корзину с семечками и убегают в узенький переулок, а вслед им летит вдохновенная брань старой торговки:

— Чтобы у вас очи повылезали, разбойники вы горластые!

Какое родное это предместье... Здесь каждая стена изрыта пулями. Когда-то здесь захлебывались свои и вражеские грузовики, шли рабочие с проклятиями на устах, отстаивая ворота этих черных корпусов.

Прохор улыбнулся детям.

— Ну и сорванцы!

— Да душа из них вон! — кричит торговка.

— Чего ты, старая мухоморка, расшумелась? — говорит он ей .— Ведь только опрокинули, не растаскали. И за это скажи спасибо.

А у него в голове назойливо вертится одна и та же

мысль. Залегла камнем, давит на череп, вот-вот расколет его.

«Чего он ропщет? Чего они хотят и за что упрекают? Писал: «Приезжай, посмотри на этот рай, понюхай его».

Сегодня в литейном снова говорили: «Ну что, старик, как там братуха? Поддерживает смычку?» А он, наверное, совсем иным духом дышит. Все, наверное, «на хозяев» поглядывает... Тьфу!»

Заблестели и закачались от ветра фонари. На мокрую мостовую от них легли широкие светлые пятна, которые, будто дрожащие языки многоликого великана, слизывали на камнях следы ежедневного труда.

Мимо Прохора пробегали трамваи, забитые мускулистыми людьми с усталыми глазами, узловатыми руками, — это рабочие в засаленных фуражках. После тяжелого трудового дня ехали домой усталые рабочие. На повороте из трамвая выскочили несколько человек и, согнувшись, пошли по направлению к «Баварии». Трамвай же загрохотал колесами, зазвенел и двинулся вперед.

— Разгружаться пошли, Семка? Сказать жене, что ты на собрании? .. — смеясь бросили вслед товарищи, и снова на их лицах, покрытых сажей, легла усталость.

Прохор нарочно пошел пешком, не сел в трамвай.

«Чего же он ропщет? Если бы он хоть раз понял... А то молчит. А от этого молчания только сердце кипит. Ну вот и носит человек этот шлак в груди».

Прохор подошел к углу, где расходились трамваи. За каменным мостом сквозь темную арку сиял длинный золотой ряд фонарей — там начинался город с широкой, просторной улицей, на которой были музеи, прекрасные аптеки и театры. Он вошел под арку, где не так резко дул ветер. Закурил. Над его головой по мосту простонали вагоны, а где-то далеко, будто хвастаясь, засвистел лихой паровозик:

— Плуги! Плу-ги-и! ..

Это поезд с завода. Он отвезет на товарную станцию свой железный груз и побежит назад порожняком, со свистом и шипением:

— Час-с! Ча-с! Ча-с! Ча-с-с...

Прохор пошел к своему спуску самой ближней дорогой, вдоль насыпи. Вдали, на рельсах, последний вагон мигал своим красным глазом, скрываясь за темными извилинами станции.

— Товарищ Сахно! — вдруг услыхал он чей-то голос, а потом смех.

Перед Прохором появилась мокрая кожаная фигура и схватила его за плечо.

— Папа, чего ты тут бродишь? Почему не поехал трамваем?

Прохор как-то смешно пошевелил левым усом и засмеялся.

— Это ты? Чего же ты пугаешь?

— Ха-ха-ха! Ах ты, папаня! А я думал — ты герой.

— А ты куда это на ночь глядя?

— Дела.

Прохор снова как-то тепло, дружески улыбнулся.

— Нет, скажи: куда?

— Да на собрание. Ведь скоро праздник. Разрабатываем план. Будем иллюминировать клуб. Делаем новую проводку. Стук, каюк... У меня нет времени, извини, я побежал.

— Ты же не отдыхал.

— Да неужели? Вот так штука! А я думал, что только сейчас вылез из ванны и на балалайке поиграл. Ну, иди, не разговаривай! А если б ты знал, кто у нас дома...

— Кто? — вдруг спросил Прохор и почувствовал, как у него сжалось сердце.

— Отгадай.

— Из села?

— Да еще и из дикого.

— Слушай, ты дурака не валяй, Мишка! Говори, правда?

— Ну, не волнуйся, папа; — сказал юноша. — В самом деле, к нам из села пришел дядя Никанор. Это же гора, а не дядя! Он мне понравился. У него каждое слово — пуд земли. А смотрит как! Исподлобья. Ей-богу, мне он нравится...

Миша уже скрылся за насыпью, а Прохор еще слы-

хал его звонкий, как стук молотка по маленькой наковальне, смех.

На заводе Миша работает младшим помощником электротехника. Но не трудится он только шесть часов в сутки, когда спит. Остальное время пропадает где-то в казарме, где-то в клубе, на собраниях и приходит домой поздно, пошумит еще минуты три ужиная, а потом упадет на кровать и спит так, что комната дрожит... Прохор посмотрел в ту сторону, куда ушел Миша. Его глаза заволокло чем-то до боли горячим и приятным. Но он махнул рукой и снова засмеялся.

— Вот винт! Да приходи поскорей, слышишь ты, агитатор! — крикнул Прохор в слякотную темноту ночи.

Потом он поднял воротник, надвинул на лоб фуражку и быстро пошел домой.

Голова Матросского спуска утопала в ложбине, где стояли разрушенные дома, валялись горы разбитого кирпича и камней. Когда-то здесь взрывались трехдюймовые снаряды, а недалеко отсюда рабочие во время стремительного наступления подняли в воздух целый артиллерийский склад.

Напротив дома № 12 стоит одинокая стена, свесившись над мостовой в немом раздумье: упасть или не упасть? На разбитых окнах шевелится ночная птица, готовая взметнуть черными крыльями, когда придет опасность.

Прохор живет в доме № 12.

Он подошел к воротам и дернул за проволочное кольцо. Вышел хозяин и, бранясь, загремел засовом.

— Спасибо, — сказал Прохор.

Хозяин посопел, молча стукнул калиткой и сплюнул.

— Живет за спасибо, да еще и открывай ему! Эх, и люди же теперь стали, чтоб земля под вами провалилась!..

Однако сегодня Прохор пропускает мимо ушей эти слова. Он наклоняется и, держась за перила, идет по каменным ступенькам к своей квартире.

Темно. Он нащупал дверь и остановился.

С чем пришел Никанор? С тех пор прошла целая жизнь. Трудная, жестокая. Знал же он о том, что брат сидит где-то за решетками за непорядки... Но молчал. Трудился, как черный вол, на своей полоске земли и молчал. Верный раб земли...

Нажал на щеколду. Постучал. Вышла Маша, черноволосая, морщинистая, в новой блузке.

— Прохор, а у нас гости.

Он вошел в комнату и увидел Никанора. Тот сидел возле стола в свитке, как пришел, и казалось, его черная фигура вот-вот раздавит на мелкие щепки чистый, белый стол. Рядом с ним, на другом стуле, лежала грубая, крепко завязанная сумка. Ее бока распирали буханки хлеба и еще какая-то снедь.

Прохор вошел в комнату и, снимая фуражку, направился к Никанору.

— Здравствуй, брат!

Никанор пошевелил бородой, поднялся и, протягивая руку, ответил:

— Здравствуй, Прохор. Вот и я.

Маша отвернулась. Незаметно краешком блузки вытерла глаза. Братья почтительно поздоровались, потом, положив левую руку на плечо один другому, молча, сурово, сосредоточенно и не спеша трижды поцеловались.

— Спасибо, — сказал после этого Прохор. — Я встретил Мишку, он мне и сказал о тебе. Я еще и не поверил. Ну, спасибо, значит, хорошо, — говорил Прохор волнуясь.

Никанор же, услыхав о Мише, радостно улыбнулся.

— Я и не знал, что у меня такой племянник!

— А что он здесь? Он такой, что...

— Нет, приятный парень, а уж что скажет, что прикажет... Сразу видно, что городской. — И снова борода спрятала его улыбку.

— Давай воды, — сказал Прохор Маше, — давай будем сейчас грязь скрести. Раздевайся же, почему ты сидишь будто на вокзале? Ну, расстегивайся! Так ты пешком? Неужели такую даль пешком?

— А что? Пускай лошадки отдохнут. Натрудились.

— Посеял, значит?

— Да, посеял что бог послал.

— Ну, снимай, снимай свитку! Сюда ее. Давай, Маша, воды.

Маша налила им в большую белую миску теплой воды. Никанор молча засучил рукава и погрузил руки в приятно теплую воду. По его лицу разлилось странное, детское смущение. Пришлось ему еще и мыло взять, потому что Маша не отходила от него и просто втиснула мыло в Никаноровы руки. Они мылись в одной миске. Вода сразу стала черной от земли и сажи.

— Давай чистой! — командовал Прохор.

Потом Никанор развязал сумку и, вытащив буханку хлеба, сказал Маше:

— Примите, хозяйка, из наших мужицких рук. Живем мы по-черному, а хлеб можем сделать и белый.

— Чего же ты, Никанор, так говоришь? — ответил Прохор. — Спасибо тебе, только чего же ты так? ..

Братья посмотрели друг на друга. Сильные, загоревшие на работе, с крупными мускулами, переплетенными могучими жилами, они словно изучали друг друга. У одного поседевшие усы и голова покрыты потемневшим серебром, а у другого — густая борода.

— Ну, садись, рассказывай. Как вы там?

— Да что говорить? Жизнь наша известна тебе, — сказал Никанор. — Село, да и все. Ну, а ваша нам мало известна.

— Мало? Присмотрись, брат. Ко всему присмотрись. На завод пойди.

— Если пустят.

— Да чего же не пустят?

— У вас же там по часам. Смены...

— Ну так что, если смены? Посмотришь. Может быть, в той смене ты и часа не выдержишь.

Никанор мрачно усмехнулся.

— Такая трудная?

— Как для кого. Наш брат привык.

Оба замолчали. Маша звенела стаканами — будет чай.

— Выпьем, брат, чаю, а там, гляди, придет и Миша. Он там к празднику готовится.

— Праздник, значит?

— Да, клуб что-то собирается показать нам. А у вас там как? Бывает что-нибудь?

— Не знаю. Мы к тиятрам не привыкли, не ходим. Кооперация у вас тут, смотри, какая! Мы в лепешку разобьемся, и то у нас такой никогда не будет. Где уж там! Тут власть — поддержка. А у нас за девять лет революции, может, и девяти путных ораторов не было. Так, какие-то вертопрахи приезжали, да еще и на автомобилях. Только бензин напрасно тратят. Попыхтели, попыхтели, — это, говорят, шефство. А оно ни к чему. Кто его будет слушать? Коли у него на губах еще материнское молоко не обсохло, а он: «Товарищи, товарищи. . .». И так нам все. . .

Никанор разошелся. Он уперся руками в колени, свесил голову и, будто из земли, будто из глубокой ямы, лежавшей перед ним, вытаскивал из себя жгучие, трудные, пропитанные кровью слова. Эти жгучие слова падали на кучу комками засохшей, раскаленной земли, вырастали, как гора, и, казалось, заполнили уже всю комнату.

Прохор слушал брата, подперев щеку огромным черным кулаком. От этого загоревшая кожа его лица собралась в гармошку.

Он вспомнил прошедшие годы. Глухие ночи, крики петухов, вой собак. . . Никанор сидит в конце стола, думает о земле, тяжело нахмурив лоб. Потом перед его глазами прошла вся его жизнь — в огне, в тревогах и тоже в недостатках. А теперь, когда он трудится вместе с сыном, сливаясь каждый день с пением и звоном железа, да радуется порой просто и искренне такой жизни, ежедневным бурным беседам и спорам, тому, что снимают и избирают завком, — ведь они с горечью переживают, если что-то делается не так, как нужно, — радуется музыке, что играет в клубе во время праздников, и развевающимся, обагренным кровью знаменам, — почему же Никанор и сейчас смотрит на жизнь как прежде?

— Эх, Никанор! Ведь дали же тебе землю. Ты так хотел этого! Почему же ты не радуешься?

— Дали. Да поднять ее нечем. Горбом своим только и берешь. Хлеб продашь, а себе за него ничего

и не купишь, ни к чему не приступишься! Ты вот что мне скажи: разве это шефство? Вам-то хорошо говорить!

Прохор горько улыбнулся.

— А как же! Нам хорошо, мы в молоке купаемся, ничего не делаем — само в рот плывет... Ты еще и тогда так говорил. Только чего эти рабочие шли на смерть, кровью обливались? Зачем они и революцию делали? Пускай бы земля принадлежала помещикам, а заводы...

— Я об этом не говорю. Что же ты... — И Никанор не досказал.

«До каких же пор вы...» — хотелось закричать Прохору.

Но вдруг открылась дверь, вошел Миша. Он был весь мокрый, а с козырька его фуражки капли мягко падали на пол. Он стряхнул фуражку и крикнул:

— Заседаете? А вот и я! Бросил, прибежал. Честное слово, дядя, ради вас! Дождь, господа, льет как из ведра!

Все почувствовали какое-то облегчение при виде Миши, будто этот здоровый и веселый юноша мог сгладить все горе, успокоить и дядю и его боль.

— Ну, чего вы замолчали? Докладчик, кажется, дядя Никанор? Ну-ну, не отпирайтесь, я же слыхал, как вы крыли нашего брата комсомольца! Ха-ха! Не правда? Ведь крыли же?

— Да, крыл. Потому что заслужили. Ведь вы, барбосы, разве что-нибудь сделаете путное? — сказал Прохор строго и вместе с тем с такой нежностью, что Миша расхохотался.

— Справедливо! Я же говорил — переходи в нашу ячейку, мы тебя сделаем секретарем, и будешь наводить порядок.

— Да отцепись ты! Не видал я лоботрясов...

— Ха-ха-ха! Ей-ей, отец думает, что мы в самом деле хотим избрать его секретарем!

Никанор улыбался, посматривая боком, с некоторым недоверием, на Мишу.

— Ты же и шутник, парень, как я вижу, — сказал ему Никанор.

— Иначе, дядя, грош нам цена. Кто нос сам себе вытереть не умеет, ходит и стонет, тот, дядя, не человек. Тот только портит воздух. Оно даже самому как-то неприятно, когда хандришь, стонешь, да еще и у других вызываешь слезу.

— Как же это так получается? . .

— Да так вот и получается. Даже противно. Если и нам так жить, так лучше сказать: «Погоняй прямо в гроб».

— Гм, вон как. . . Тебя еще и не поймешь, по ком ты стреляешь, — мрачно ответил Никанор.

— Не по вас, дядя, нет. Вы имеете право.

— То есть какое?

— Да вот хотя бы проклинать нашего брата вертопраха, — засмеялся Миша.

— Ведь есть за что.

— Ну вот, видите! Есть за что. А вот отец и скажет, не говорил ли я об этом тебе сто раз: у дяди Никанора есть сын, а что он делает? Хвосты лошадям крутит. Да разве это жизнь? А дядя Никанор и не подумает о том, что Васе пора бы уже и в комсомол вступить.

— Вот те и на! Куда загнул! Да что б это ему дало?

— А об этом вы тогда его спросили бы: «Как, Вася, помогло тебе хоть немного?»

— И спрашивать нечего! Хвосты все равно надо будет крутить. Такая уж наша жизнь. Нет ей, парень, ни конца, ни края, как вот этой осенней ночи. Все равно крутил бы хвосты. . .

— Однако, дядя! Вы посмотрели бы потом, как он их крутил бы!

— Сознательно, что ли?

— Чтоб вы знали! . . А сейчас крутит несознательно.

Все засмеялись, даже Никанор, который морщил лоб, пытаясь сдержать смех.

— Нет, дядя, не смейтесь! Давайте ужинать! А отец, наверное, для такого случая еще и бутылку вина разрешит. . .

— Да чего же! — ответил Прохор. — Пойди. А как же, нужно. . .

Никанору было очень приятно, но он не показывал виду. Он даже сказал:

— Оно можно и без этого. Обошлось бы.

— Нет, нет, пойди, Миша, — поддержала из кухни мать. — Ларек тут недалеко. Если можно...

Миша после этих слов отбросил полу тужурки и показал рукой на горлышко бутылки, которая выглядывала у него из кармана.

— Ларек, мама, даже ближе, чем ты думаешь.

— Ну разве ты не фокусник?!

— Ну, папа, значит, вынимать? В ячейку не заявишь?

— Вынимай, вынимай! Тоже артист хороший, — засмеялся и Прохор. — Ставь ее сюда. Чего было попусту разговор заводить?

— Должен был узнать ваше мнение. Но вижу, что ваше мнение такое, что если бы нашлось две, так вы бы тоже не возражали. А поэтому я вношу и второе предложение...

Он отбросил вторую полу тужурки и вытащил из кармана еще бутылку.

— Ах ты хулиган, хулиган! — промолвил сквозь смех Прохор.

— Вот это так!

Миша объяснил:

— Для четырех рабочих людей две бутылки вина — все равно что для двигателя одна лопата угля. Так я себе подумал. Правда, я не очень-то пью — значит вам достанется немного больше, ну, полторы лопаты. Однако этим таких двигателей, как вы, не разогреешь...

Они согласились с его доводами. Миша откупорил обе бутылки.

— Первый стакан — за нашу силу, — сказал он, чокаясь с дядей Никанором.

Выпили. Никанор ответил.

— Ваша сила и так.

— Чья это «ваша»? — вдруг спросил его Прохор. Это был первый и непримиримый вопрос, которого он не мог не задать брату. — Чья это «ваша», я тебя спрашиваю!

— Ваша — значит, не наша. Нечего и спрашивать!

Миша улыбнулся и ответил:

— Кройте их, эксплуататоров! Потому что они жить не дают.

— Ты эту критику оставь, — ответил Никанор. — Думаешь, если мужик, так он уже и не разберется?

— Кто же говорит, что не разберется! Наоборот, вы сразу разобрались. Можно сказать, прямо в самую жилу бьете...

— А что же?

— Ну что? — снова спросил Прохор и пристально посмотрел на брата.

— А что, может, скажешь, нас спрашивают? Мы как скотина. Удобряй землю и ройся в ней, пока не подохнешь.

— А твой внутренний враг, рабочий, тем временем ходит на заводе да поплевывает! — засмеялся Миша.

— Не знаю, поплевывает или посвистывает.

— Посвистывает, буржуяка! О, вы еще не знаете его, дядя Никанор! Да ничего, узнаете! Хорошо, что вы пришли. Мы эту критику по боку. А вот как поближе познакомимся, тогда мы всю нашу и вашу жизнь и всю власть по винтику развинтим, перечистим, снова вместе сложим и пустим в ход. Пейте вино!

Миша горячился, голос его звучал сухо. В глазах уже не было смеха, в них вспыхивали другие огоньки.

— Пейте вино да высказывайте все, что есть на душе! А ну, не скрывать ни одной мысли! Откровенно! Потому что вы, мужики, люди крепкие, но не бойтесь — рабочие намного крепче вас!

... Сидели они до глубокой ночи. В их беседе переплетались железо и дерево, камень и сталь, родная горячая кровь с темной собственнической жаждой хлебороба и волей рабочего, который берет, завоевывает мир, вырывает его из рук угнетателей. У каждого из них глаза горели страстным, неугасимым огнем, каждый стучал по столу. И в этом огне расплавлялись искренние, стойкие сердца, и в этом белом закале надежд и стремлений — земли и железа — рождалась сильная, единственная истина:

— Мы же... братья!

На заводе готовились к октябрьским праздникам. Миша влетел в завком, схватил председателя за блузу, улыбаясь грозил ему:

— Если ты мне, бюрократ несчастный, не поможешь дополнительно получить пятьдесят рублей на иллюминацию, то знаешь, что будет?

Председатель завкома, озабоченный, позеленевший от переутомления, вырывался от него и бросал на ходу:

— Да знаю уж, знаю!

— Ну, что?

— Так не будет иллюминации.

— Справедливо. Не будет иллюминации, но не будет и тебя. Живьем закопаю!

— Лишь бы не очень глубоко.

— Да уж так, что не выберешься. Так вот, смотри: чтобы были деньги. Во-первых, перед своими же стыдно, если получится плохо, а во-вторых, из села ведь приедут. Да я ради своего дяди всю душу из тебя вытряхну!

— Ради какого дяди?

— Да уж есть такой. Родной брат моего отца.

— Ну? Сахно?

— Наверное, Сахно, раз родной брат. Хлебопашец! Без подделки. «У вас там, говорит, смены да часы...» То есть лежебоки вы городские, сидите на нашей шее.

— Интересно!

— Интересно? Нет, брат, не просто интересно, а больно! Так ты того, смотри мне!

Потом Миша побежал к завклубом, к мастеру, к рабкору...

А в клубе стучали молотки, свистели рубанки, визжала жесть. Возле сцены в душистых стружках утопали разбросанные круги проволоки. Миша натягивал, измерял проволоку, велел повыше прибить крючок. Через весь зал должен пролететь аэроплан, и там, где он полетит, будут вспыхивать звездочки.

Однажды в клуб пришел Никанор и спросил:

— Где тут Миша Сахно?

— Миша Сахно? — крикнул тот. — Да, наверное, это я буду Миша Сахно. Как вы думаете, ребята?

Рабочие засмеялись.

— Не знаем.

— Заходите, дядя, заходите! — крикнул Миша Никанору. Тот темной массой стоял в дверях. — Заходите, только не зацепитесь за проволоку, а то можно и упасть. Мастерим! Хотите, я вас на завод провожу?

— Да, хочу. Вот этого я и хочу, чтоб пройти туда.

— Пойдемте. Я, ребята, сейчас вернусь, — бросил он рабочим.

Потом Миша перешел с Никанором через улицу и показал:

— Вон завод! Нравится? Такой «веселый», как и вы.

— Вон то?

— Нет, то будет электростанция, а дальше, вон там, наш завод.

— А-а, большой...

— Так себе. Пойдемте. Я возьму для вас пропуск, а там вы и сами дорогу найдете. Пройдете в ворота под аркой, потом направо, налево, опять направо, налево — и попадете в литейный цех.

Они подошли к заводу. Миша куда-то ушел. Никанор посмотрел вперед и стал вполголоса читать, составляя одна к другой большие бронзовые буквы:

— «Го... с... у-дарствен... Государ... ствен... ный... Госу-дар-ственный... м-ма... ш.. .ино... стро... итель... ный... за-во-д. Государственный машиностроительный завод».

Никанор посмотрел вокруг. Вдоль стены первого корпуса, который поднимался вверх, лежало железо — рыжими, черными развороченными стогами. К стогам подъезжали тяжелые грузовики. Под ними дрожала земля. Люди сбрасывали железные столбы, изогнутые, ржавые треугольники, десятипудовые «болванки»; гремели рельсы, визжала жесть, двигались, ухали люди в серой, поржавевшей парусине. Длинные прутья выглядывали из кучи железного лома, будто отбитые пальцы, которые показывали свои свежие раны и умоляли о помощи. Здесь перебирали нужное и ненужное железо, бросали на грузовики, которые с грохотом уезжали в арку и словно проваливались там в черную пасть.

— Берегись, дяденька! Чего остановился? — закричал на него кто-то резким голосом.

Никанор, встревоженный, смешной и растерянный, отскочил и стал в сторонке. Вдруг он услыхал голос Миши — тот вынырнул будто из-под земли:

— Что, дядя, гремит? Да, тут музыка веселая. Вот вам пропуск, идите сюда.

Он втолкнул его в ворота, а сам метнулся влево и исчез.

Никанор зажал в руках пропуск и прошел под арку.

— Куда? — спросил его человек, стоявший в воротах.

— В литейный. К Сахну.

— Пропуск?

— Есть.

— Проходите. Там спросите.

Он вышел из-под арки и оказался на маленькой площади. Это было дно какого-то небольшого колодца. С четырех сторон поднимались вверх грозные стены, а вдоль них, между корпусами, свистели маховики трансмиссии, с шумом вращая подвижные пасы. Здесь нарезали оковку. Скрипели резцы — они вытачивали какие-то удивительные шкворни. Синяя засаленная рубаха рабочего прилипла к согнутому телу. Над узким коридором между двумя корпусами повис в тучах дыма тяжелый железный мост. Рабочие поднимают вверх руки в черных кожаных рукавицах. Бегут вагонетки. И вдруг все задрожало. Никанору казалось, что под ним тоже все задрожало — и небо и земля.

Он посмотрел влево. Что это? Неподвижная голова, отлитая грудь стоят на высоком постаменте. Дым несется над его головой, а железная пыль покрыла его плечи. Он подошел поближе. Это был бюст Ленина.

Никанор остановился... И здесь!.. Он!! Среди железа... И там, когда делили землю... Он...

Долго стоял Никанор. Думал...

— Как пройти в литейный? — спросил он у рабочего, проходившего мимо.

— Направо.

Никанор прошел в коридор между стенами. Налево остался слесарный цех. Перед ним токарный. В открытых окнах цеха он снова увидел движущиеся валы с огромным количеством колес. А от них волнообразно двигались к станкам пасы. И только «ж-ж-ж-ж-ж» скрипели резцы, спиралью бежала стружка и серебряными змейками падала на кучу.

Он вышел из коридора в узенький дворик.

Гора готовой продукции, отлитого чугуна, двигалась на него.

Дырявые деки, огромные плиты, крюки и решетки различных форм блестели своими сильными ребрами, давили на глаза, на голову, притягивали своей холодной, твердой силой.

Он хотел подойти, рассмотреть поближе. Но вдруг перед его глазами зашумел, засвистел рассыпавшийся огненный хвост какого-то страшного сказочного змея.

Никанор отскочил в сторону и замер...

Это было квадратное отверстие дверей литейного цеха. Но самого входа не было видно, он был закрыт огненным водопадом. В адском ливне шипели, летели искры, разбрызгивался чугун, белый, красный, ярко-желтый шлак. Он вылетал со стороны дверей и сплошной стеной закрывал вход. Шум расплавленной массы, которая, вырвавшись из-под кокса, раскаленная добела, плясала в безумном танце, дико празднуя свое освобождение, рассыпая вокруг пылающие, невыносимо горячие искры.

Перед его глазами замелькали желто-зеленые круги.

«Это вход в ад!»

Снова неожиданно вынырнула фигура Миши, замаскированная отблесками чугуна и стали. Миша незаметно для Никанора следовал за ним и наблюдал за каждым его шагом.

— Гудит? Только что пошла вагранка. Ну, айда!

— Куда? — спросил Никанор, не отрывая глаз от дверей.

— Да сюда же, в литейный.



Никанор посмотрел на него удивленно: что он, смеется над ним или правду говорит?

— Как? Разве сюда можно войти? Огонь... Где же двери?

— А, что там огонь! Это пустяки, вагранка немного слюнявит. Вот видите, внизу уголок дверей? Надо пригнуться, закрыть голову — и прямо туда.

— А там?

— Ничего. Думаете, и там огонь? Там только немного дыма. Ну, проскакивайте!

Никанор не двигался с места. Разве можно бросаться в этот дым? Миша смеется над ним, «проверяет».

Но Миша совсем не шутил.

— За мной! — крикнул он.

Никанор увидел, что он закрыл руками голову и юркнул под шлаком в уголок двери, откуда валил синий дым. Там гасли редкие, ослабевшие искры. Тогда Никанор набросил на лицо полу свитки и ринулся следом за Мишей.

...В первую минуту все поплыло перед ним желто-синими кругами. Где-то в чаду возле шипящего металла раздавались голоса и шевелились люди.

— Берегись! — раздался чей-то голос.

— Сюда, Никанор! — услыхал он с другого конца. Это кричал Прохор.

И снова чей-то резкий голос приказывает:

— Отойди в сторону! Возьми влево! Стоишь, как...

Двое рабочих на железном коромысле пронесли тяжелое ведро и скрылись.

— Мишка, где ты? Я ничего не вижу! — крикнул Никанор.

— Тут! — прозвучал где-то в ответ ему голос и потонул в песке и дыму.

Невозможная жара пробралась к нему под свитку, наполнила кости, мускулы, ворвалась в жилы и побежала по лицу неожиданным пóтом.

И вдруг со стороны дверей ударил белый свет. Запах расплавленного чугуна обдал Никанора. Он обернулся. С высокой вагранки поплыл белой пылающей

патокой чугун, и спокойно, неслышно стали наполняться ведра — одно, второе, третье... Потом они покачались на шестах и поплыли по цеху. Никанор уже стал различать верстаки, фигуры рабочих, которые, стоя на песке, ждут своей очереди, готовые принять из ведра порцию страшной жидкости, влить ее в форму и выбросить потом твердый, свежий металл — для нужд человека. Черные лица рабочих умываются пóтом, в неуловимом ритме поднимаются их руки, и дым от их напряженно-точных движений уходит волнистыми кольцами.

— А что там, как оно в поле? — услыхал он чей-то голос.

К нему подошел низенький, широкоплечий мужчина с красным, вспотевшим лицом. Улыбаясь, он бросил на Никанора дружеский взгляд, достал из кармана табак и стал скручивать папиросу.

— Озимые всходят? — продолжал он.

— Да, взошли... уже на четверть от земли, — смущенно ответил Никанор. — Если б снегом покрыло, так было бы хорошо...

В этот момент прозвучала четкая команда мастера:

— Внимание, лётники! Внимание, лётники! Педо! Чтобы мне губки не было! Давай!

Рабочий затянулся папиросой и побежал на свое место.

Снова чугун. Он льется страшным потоком, готовым сжечь на своем пути все, что встретит, — руку, ногу, человека...

— Это же смерть, — показывает Никанор в ту сторону.

— Смерть, — бросает Миша. — Но какого черта лезть ей в пасть! Хотя случается...

Никанор стоял, осматриваясь вокруг. Он искал глазами человека, который расспрашивал его об озимых.

Эти синие, задымленные люди казались ему какими-то неправдоподобными. Как? Всю жизнь — железо и огонь. По капле сила уходит в песок, в чугун. Ее уже нельзя вернуть. Упала — и нет. Сошла вместе с горячим пóтом... И мясо, и кости, и жилы — все исто-

щается... Их покрывает ржавчина. Придет время, когда руки опустятся и уже не смогут работать. Той силы, которая была прежде, уже не станет. И угла своего нет... И двора... И скотины... Только и есть, что небольшой сундучок, как у того Прохора. А в нем все богатство рабочего — новые штаны и сапоги.

...Тело устало. Глаза плавали, как в тумане, в голове стучало. Никанору смертельно захотелось подышать свежим воздухом.

— На улицу! Миша, как пройти во двор?

— Сюда! — смеясь ответил Миша. — За мной!

Никанор пошатываясь пошел к двери.

Кусочек мрачного неба, которое, будто повиснув на верхушке дымовой трубы, торчавшей между корпусами, сеяло на землю мелкий дождик, показался ему чистым, безграничным пространством.

Никанор оглянулся, но Миши не было, хотя он, кажется, выскочил оттуда следом за ним. Тогда Никанор присел на железную балку и с жадностью, полной грудью, стал вдыхать воздух, расправляя плечи и спину так, что даже суставы хрустели. Перед его взором возникли поля и печальный вечер, когда на горизонте висели тучи, а Прохор сказал, что решил уходить... И вдруг он почувствовал, как задрожала земля от грохота грузовиков. Он почувствовал эту страшную силу. Поднялся, хотел было выйти на улицу.

— Уже идете? — услыхал он.

Это стоял улыбавшийся Миша.

— Где ты был? Я хочу выйти отсюда.

— Чего? Я на минутку заскочил в машинное отделение. Можно и выйти. Но вот тут, немного пониже, склад. Хотите посмотреть? Там сейчас стоит около двух тысяч плугов.

У Никанора от такого известия заблестели глаза.

— Сакковские?

— Чего же сакковские? Наши! Государственные плуги! Вот пойдемте.

Миша привел дядю к складу. Опершись на косяк, Никанор смотрел в глубь огромного помещения, где, задрав ручки и зарывшись в мелкий песок, стояли бесконечными рядами новые, свежеокрашенные плуги.

И вдруг он представил себе, как эти машины, созданные трудом и пóтом рабочих, которые казались мрачными от черных стен склада, разместятся в сотнях и сотнях вагонов и ночью, навстречу ветрам и слякоти, понесутся на далекие поля.

И снова перед его глазами предстал литейный цех — и дым, и угар, и снова послышалось шипение. Синие фигуры людей в рукавицах. Это же они... Это их труд...

. . . .

Прогудел гудок.

— Смена, — сказал Миша. — Сейчас выйдет отец. Идите вместе домой, а у меня здесь еще дело есть.

Из цехов повалили рабочие. Никанор влился в этот поток. Сжимая плечами, боками, локтями, они двигали его к воротам, на мокрую от дождя вечернюю улицу.

До праздников оставалось несколько дней. Никанор дал Мише слово остаться на эти дни.

— Посмотрю еще, какие там у вас представления. Ведь дома Вася обо всем расспросит. Он у меня тоже боевой...

— Да ходу ему не дают, — сказал Миша.

— Оно вроде-то и правда.

— Еще бы не правда! Знаете, что? Вот вы пришлите его к нам.

— Ну и что?

— Пускай тут побудет. Может, мы его куда-нибудь...

— Да он о рабфаке только и мечтает. А не знаю... — Он не хотел даже заикаться о том, что надеялся пристроить Васю у брата на квартире.

— Мечтает? И прекрасно! Присылайте его сюда! — горячо ответил Миша.

— «Механиком, говорит, хочу быть». Такой глупый, будто дома нечего есть.

— Неужели механиком? Я ведь тоже, дядя, буду механиком. Значит, сюда его!

— Да я не отпущу. Куда ему соваться! Пускай трудится на земле.

— У вас же еще есть хлопцы?

— Да, есть. Там один такой пострел, в школу ходит. А второй — тот по хозяйству. Пускай хвосты крутят.

— Глупости! Вот после праздника и присылайте. Вы как побудете у нас в клубе, так еще и сами, чего доброго на завод попроситесь.

Никанор покачал головой.

— Это уж нет! Вы — другое дело, вам такая судьба выпала. Кто его знает, может, и Вася... — добавил он задумчиво. — А я насмотрелся тут. Странные вы люди.

— Странные?

— Не такие какие-то. Вы и сами будто из железа скроены. Наверное, у вас вместо крови вон тот чугун.

— Ого, дядя! Ей-бо, хорошо сказано! Если б кто другой сказал, не поверили бы. А раз вы говорите, поверят.

— Да поверят или не поверят, а я уж вижу теперь.

Никанор хотел еще что-то сказать, да только махнул рукой — не находил подходящих слов. Потом добавил:

— Смерть за вами следом ходит.

Миша засмеялся.

— Она за каждым из нас ходит. А больше всего за тем, кто и не ждет ее. За нами ей теперь не так-то легко угнаться.

В этот вечер Миша, пообедав на скорую руку, снова побежал на завод.

— И сегодня идешь? — спросила его мать. — Хоть один вечер посидел бы дома. Вот дядя скоро уедет, посиди с нами.

— Не ходи, Миша, ну его, — сказал и Прохор, — без тебя там обойдутся. Не ходи, прошу тебя.

Но Миша все-таки пошел. Как же так! Оставалось всего два дня. Сегодня будет генеральная проба. Он должен сам дать ток, посмотреть, как освещен зал,

как будет вертеться звезда. Кто же без него это сделает? Еще кого-нибудь ударит током... Нельзя, надо идти.

И пошел.

В клубе в тот вечер собрались все синеблузники — все, кто должен был выступать. Миша посмотрел на сцену и сразу же заметил одну... Ее звали, как и его маму, Маша.

Его сердце радостно забилось. Сколько дней он уже не видел ее, сколько дней они не разговаривали и не встречались под стенами завода...

Она заметила его сразу, как только он появился в дверях.

— Здорово, шатия! — крикнул он синеблузникам. — А ну, артисты погорелого театра, уходите со сцены!

— Положим, — отозвались те, — нам и здесь хорошо.

— Лучше будет, если вы уйдете. Потому что я сейчас буду давать ток, а там везде провода, еще не все готово. Лучше убирайтесь со сцены, серьезно вам говорю, а то еще ударит кого-нибудь.

Миша взбежал на сцену и пожал горячие руки Маши.

— Здравствуй, — шепнул он ей.

Потом сбросил тужурку, надел на шею кусок тонкого провода.

— Вот это протяну для занавеса и потом... Говорил им — прибейте, — не прибили. Вот народ! Все самому нужно делать!

Он подставил раскладную лестницу и полез к верхнему порталу прибивать проволоку. Синеблузники сидели в зале на скамьях, курили, заигрывали с девушками.

Все хохотали. Это было так понятно: наступают октябрьские праздники, везде будет много кумача и шума.

Миша вытащил один конец провода из мотка, который висел у него на плече, и стал цеплять его в уголке, над доской с изоляторами.

Маша, не отрывая глаз, следила за каждым его движением.

Его сильная, гибкая фигура белела в полумраке квадратной сцены свежей сорочкой, то почти перегибалась через перекладину, то напряженно застывала возле какого-нибудь трудного места проводки.

Вот он приподнялся на носки, медленно поднял руки.

— Миша, осторожно, не упади, — тихо сказала Маша.

Да он и сам держался крепко. В ответ на ее предупреждение он только засмеялся, взмахнул волосами: мол, не волнуйся. С этим проводом он уже покончил, и сейчас остается только прикрепить второй конец провода к тому, что в зале. После этого соединить с доской — и все. Плохо, нет провода. Говорил же, что надо прикупить, — не купили. Да можно и этим, обыкновенным...

«Эх, и заиграет же иллюминация!..»

Ему было очень приятно сознавать, что здесь вложено столько его усилий, волнений, труда и фантазии. Маша чувствует то же. Она щурит глаза и улыбается ему. А уж дядя Никанор будет удивлен! Ему и на пасху никогда не приходилось видеть столько света, сколько он увидит здесь.

— Ну, ребята, еще одна минута. Прикручиваю...

— Да давай скорее!

— Минутку! Бегите кто-нибудь к механику, пускай дает ток. Пока я здесь...

Вдруг он зашатался. Рука с проволокой взмахнула в воздухе.

Конец где-то зацепился... В зале блеснули сотни огней. И в эту же секунду единственный короткий крик вырвался из груди Миши, и он с размаху упал на сцену.

Вначале никто ничего не мог понять, только у всех одновременно расширились глаза и окаменели лица. Потом все бросились к сцене...

— Ток!!

— Кто дал ток?!

— Выключить!! Выключить ток!!

Мишу подбросило над сценой, и он головой ударился о рампу...

Маша подскочила к нему. Бросилась к изоляторам. Нет, не найдет их... Она дернула Мишу за руку — хотела вырвать из нее проволоку, — но ее отбросило к стене.

Кто-то закричал:

— Монтера!!

Кто-то повторил:

— Монтера!!

Кто-то куском рельса ударил по распределительной доске.

. . . .

Сразу погас свет.

Но Миша уже не вздрагивал. Он лежал среди инструментов, обрезков жести и проволоки.

Стояла страшная тишина.

Через несколько минут карета скорой помощи блеснула возле клуба своим красным фонариком.

Товарищи обкладывали тело Миши холодной, мокрой землей. Но врачу оставалось только сказать им:

— Хватит, товарищи, оставьте... Сообщите родителям и завкому...

Мишу похоронили. Невеселым был праздник. Печально прогудели гудки. Старый Прохор не плакал, он только почернел как уголь, будто все внутри у него перегорело. Никанор собрался ехать домой. В маленькой комнате стоял сумрак. Маша, глубоко затаив печаль, лежала на кровати. Сухие, измученные глаза ее бессмысленно блуждали по стене.

Никанор надел сумку.

— Прощай, брат, — сказал он, обращаясь к Прохору. — Прощай и ты, Маша.

И потом, опустив голову на грудь, будто отвечая на свой давний вопрос, сказал:

— Допрактиковался... — И как-то коротко и глухо, будто всем телом, зарыдал. — А человек какой был...

Прохор поднялся с сундучка. Он уже три дня не

был на заводе. Голова его еще больше поседела, а жесткие, небритые щеки покрылись свежими, глубокими морщинами.

— Пойдем. Провожу.

Они вышли на улицу и пошли к предместью. Никанор, как и Прохор, молчал. А когда подошли к заводу, Никанор схватил брата за руку и горячо, всей грудью, прохрипел:

— Пойдем на село! Земля не убьет. Вспомни слова отца!

Прохор остановился. Поднял на брата свои тяжелые, наполненные горем глаза и впервые после смерти сына заговорил, с трудом выдавливая из груди сухие, жгучие слова:

— На землю? Неужели ты и теперь не понимаешь? Да ты подумай...

Он покачал головой и посмотрел на рабочих, которые лавиной двигались в ворота завода, на смену.

— Смотри сюда, — показал на них Прохор, — смотри на них! Не остановишь... Тебя, когда ты выезжаешь утром в поле, встречает жаворонок, обдает запахом земля. А тут она стонет от расплавленного металла, нужно напрячь все силы — иначе не справиться с ней.

— Остаешься? — не то спросил, не то подтвердил Никанор.

Прохор ничего не ответил, только посмотрел на брата сухими, воспаленными глазами.

Потом он прислонился к стене, закрыл лицо руками и застонал:

— Миша, мальчик мой... Механик... Как же ты не уберегся? Так глупо погибнуть...

Никанор стоял молча, не находя слов, чтобы облегчить душу. И вдруг перед ним возник полутемный склад и тысячи плугов, стоявших бесконечными рядами... Они еще пахли свежей краской, будто невидимая сила стекала с них на песок и воздух становился от нее горячим, насыщенным пóтом. Фигура Миши безмолвно стоит в дверях склада и протягивает к плугам грязную, засаленную руку.

«Наши, дядя Никанор. Не сакковские».

Никанор захлебнулся воздухом. Он подался всем

телом вперед, схватил Прохора, сжал его в своих могучих объятиях, будто обложил черной землей, и сказал и ему, и заводу, и людям в синих блузах, которые двигались в дыме и гуле:

— Прощай, брат... До смерти не забуду. А если Васька пойдет, береги его... бог с ним...

Никанор отошел в сторону, в последний раз посмотрел на завод, на трубы, которые, будто охрана из великанов, дымили в небе, и пошел, тяжело шагая, по мостовой.

Когда окончилась улица и перед ним протянулась длинная, извилистая и топкая дорога по бесконечной осенней степи, Никанор услыхал, как вдруг позади него задрожало предместье и поплыло могучими звуками над степью:

Гу-гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у!

Никанор обернулся. Там, позади, валил густой дым и таял над домами.

Харьков — Днепропетровск,
1927



ТОРТ

Мудрые латиняне придумали поговорку: «De gustibus non est disputandum». Глупости! О вкусах не спорят: ведь то, от чего один человек в восторге, другому, может быть, вовсе не нравится? Но разве гениальный Эйнштейн не доказал, что не только законы Ньютона, но и эта латинская поговорка подчиняется теории относительности? Да, ничего не следует принимать на веру. Вот, к примеру, такая вещь, как торт. Прекрасное творение кондитера, он первый противоречит этой поговорке.

Ну, скажите: кто не любит торт? Разве вы можете спокойно смотреть на него? Нет, вы не можете. Почему, скажите, проходя мимо витрины государственного треста кондитерских изделий, вы невольно останавливаетесь? Можете не отвечать! Ясно. Вас остановил торт. Большой и круглый, лежит он на хрустальной подставке, освещенный разноцветными отблесками бемского стекла, спрятав свое ароматное, пышное

чрево в белую, розовую или золотистую коробку. На вас смотрит только его нежное кремовое лицо с тонкими, как фантазия, чертами. Они приковывают ваш взор. Минута, другая — вы еще боретесь с собой, как настоящий стоик. А потом вы бессильно опускаете левую руку с портфелем, а правая вдохновенно поднимается, будто бы она и в самом деле держит нож справедливости и собирается разделить им рассыпчатое тело торта на равные части — себе, жене, гостю, его жене и детям.

Не скрывайте же! Вы любите вкусные вещи, а уж от торта вы наверняка не откажетесь. А теперь, когда вы почти открыли нам свою многогранную душу и, точно чашу для драгоценного бальзама, наполнили ее желанием, не откажите выслушать коротенькую историю одного торта.

Это было в 19. . году. Именно тогда по тротуарам стучали «деревяшки», а на бульварах деревья давно уже пожелтели и сбрасывали свои золотые листья. Кажется, эти листья были тогда единственной вещью в городе, которая напоминала о золоте, потому что тех, кто носил на плечах золотые погоны, уже не было, а остальные ходили в одежде из мешковины и в вышеупомянутых «деревяшках», и даже жених и невеста, собираясь к венцу, отдавали дань этой боевой моде, как об этом и в песне поется:

Ужасно шумно в доме Шнеерзона. . .

Теплое дыхание нэпа пока еще чуть заметно проносилось в воздухе и всех коснуться не могло. Но, воспитанные героической эпохой военного коммунизма, мы научились тогда ценить реальный сухарь, крепкие «деревяшки» и хорошую серую мешковину выше эфемерного торта, неудобного «контеса» и неуловимого крепдешина, которым вы теперь тешите свой взор. Я хочу сказать о том, что мы были голодные, как два коня, мы — я и мой друг Антон Гвоздь.

Я счастлив, что могу сказать: Антон Гвоздь — мой друг. Счастлив потому, что он был необыкновенным человеком. Я никогда не знал, и никто не мог бы узнать, когда именно он говорил правду. Однако ни

один человек в мире не мог бы упрекнуть моего друга в том, что он вот там-то и тогда-то соврал хотя бы на маковое зернышко. Нет, этого решительно никто не мог сказать! Потому что глаза и борода моего друга, которая за неделю могла отрасти у него на два с половиной дюйма, всегда убеждали нас в обратном. Его глаза искренне и строго смотрели на нас, а черная борода окончательно отбрасывала всякие сомнения. Рассказав какую-нибудь невероятную историю, он устремлял на вас такой взгляд, от которого на душе у вас становилось радостно, как бы грустны перед этим вы ни были. И если вы, всплеснув руками, восклицали: «Вот! Ну, ты смотри! Какое!» — так он в свою очередь отвечал: «Да это просто неприятно слушать. . .» — будто бы эту историю рассказал не он, а вы. Тогда он начинал смеяться над вами, и вам становилось ужасно неловко оттого, что вы сболтнули такую глупость.

Эх, Антон Гвоздь, Антон Гвоздь! Где ты? И что с тобой случилось? Я уверен, что твое место на вершине славы. Потому что кто из наших товарищей может похвастаться такой богатой фантазией, как у тебя? Однако лучше рассказывать обо всем спокойно.

Нам было поручено собрать деньги на организацию столовой для голодающих детей. Собрать деньги! Легко сказать! Мы ведь сами хотели есть не меньше, чем дети. По крайней мере у Антона еще с того дня, когда мы получили это трудное задание, во рту ничего не было, кроме какой-то чепухи из макухи. Прошло уже дней пять. До конца срока осталось всего два дня, потому что на выполнение задания нам дали только неделю.

— Прояви инициативу, изворачивайся, делай что хочешь, наконец, устрой спектакль, а деньги чтобы нам были.

Так сказали Антону в Комитете по оказанию помощи детям.

Одним словом, к послезавтрашнему дню деньги нужны были, как недавняя победа под Перекопом. Таким образом, население города, в котором мы тогда жили и действовали, должно было в течение двух дней проявить самую высокую сознательность, самую

высокую степень великого чувства революционного долга. Оно должно было пожертвовать нам полный мешок миллионов и других астрономических дензнаков, бывших в обращении в те удивительные годы. Мы нисколько не сомневались в высоком уровне сознательности наших горожан. Однако каким способом ее пробудить? В этом, собственно, и была загвоздка.

К моему плану друг отнесся очень скептически. Признаюсь, он просто высмеял его.

— Ха, — сказал он, — вот так план! Да это не план, а... фурьеризм, если хочешь получить научное определение твоей бездарности. Придумал...

— А в чем же бездарность? — спросил я.

— Он несерьезный.

— Несерьезный? Почему же он несерьезный? А каким, по-твоему, должен быть серьезный план?

Гвоздь посмотрел на меня с явным презрением.

— Нужно иметь хоть крупицу вот здесь, — он показал пальцем на лоб, — хоть на копейку фантазии. Иначе детям придется есть такой же непригодный харч, как твои планы. А что твоим планом не будешь сыт — это факт, и детей ожидают муки голода.

— Не сердись, дружок, — ответил я с ехидством, — потому что и сам ты не можешь сказать, что такое серьезный план.

— Я? Не могу? Я? То есть я не знаю, что такое...

Он замолчал от возмущения, но через минуту бросил:

— Серьезным планом мы считаем такой план, который даст нам деньги, а не комбинацию из пальцев. Понял?

— Гм... Не совсем.

— Дурак, положим, этого и не поймет. Надо базироваться на интересах самих граждан. А дурак, такой, как вот ты в данном случае, вместо этого будет предлагать игру на их духовных качествах.

Одним словом, я предлагал взволновать жителей города пламенным, искренним, горячим призывом: «Все на помощь детям!» И вот этот замечательный план — собрание, торжественная речь — Антон Гвоздь жестоко высмеял.

Тогда я тоже улыбнулся и бросил на него убийственный взгляд.

— Имея таких мудрецов, как Антон Гвоздь, революция, конечно, может быть спокойна, потому что именно они и придумывают то, что нужно. Увидим же! Я по крайней мере больше не вмешиваюсь в это дело, — сказал я тоном крайне оскорбленного человека и, свалившись на кровать, отвернулся к стене.

Гвоздь стоял возле окна и насвистывал мелодию какого-то военного марша, затем пропел один куплет «Ужасно шумно. . .» и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты.

Я уснул. Стыдно признаться, но голова моя отказалась работать дальше. Я мысленно перебрал все планы, которые только может придумать человеческий ум. Были минуты, когда мне приходили в голову почти гениальные мысли. Но сквозь сон, который овладевал мной, пробивалась Антонова борода и небрежно и скептически сметала все мои мысли. Потом передо мной стали возникать уже совсем внеплановые картины. Будто сквозь кисею, увидел я своего друга верхом на коне в годы прошлых походов и отступлений. Поднявшись на стременах, он садится на заднюю луку своего разболтанного седла и дает коню свободу. Конь ритмично шагает, помахивая вороной гривой. Антон оглядывается на товарищей, от которых он нарочно немного отстал, и вытаскивает из-за голенища огрызок столярного карандаша. Что он будет делать? Ага, знаю! Это он изучает азбуку. Склонившись над кожаным седлом, еще теплым и влажным от его крепкого и разгоряченного тела, Антон Гвоздь левой рукой опирается на переднюю луку, а правой выводит название царицынской газеты: «Солдат революции».

Выводит он его очень долго, зачеркивает и снова пишет. Ему неудобно сидеть, но он забывает обо всем и в такой неловкой позе едет целую версту. Он, Антон Гвоздь, этот бывший кузнец, а теперь командир эскадрона, страшно упрямый человек. Его лоб избороздили морщины, а в их углублениях скопился творческий пот. Он начинает улыбаться. Может быть, он

придумал «серьезный план» и записывает его на коже седла? . . Так и есть! Он что-то придумал, и поэтому я могу теперь окончательно уснуть. . .

И я спокойно уснул, захрапел, засвистел носом, как будто никакая обязанность не висела надо мной — ни в виде дамоклова меча, ни в виде голодных детей, которые ждут от нас денег.

Я вышел на улицу, когда уже стало смеркаться. Влажный ветер ударил мне в лицо, пробежал по моей спине, усеял пылью, будто пшеном, мою открытую грудь. И я снова серьезно задумался. Так я подошел к дому бывшей гимназии. И здесь невольно остановился — мое внимание привлекли огоньки, которые вспыхнули в окнах с решетками. Я подошел поближе. Нет, это наверное, ошибка. Но вот снова вспыхнул огонек, который осветил в полумраке зала Антонову бороду. Да! Не может быть никакого сомнения. Мой друг стоит посредине зала, возле него двое незнакомых мне людей. Они, щелкая зажигалками, осматривают зал. Что это может означать?

Я подхожу к двери и нажимаю на нее плечом. Дверь открывается, я вхожу в коридор, а оттуда ощупью пробираюсь в зал.

— Антоша! — не очень смело окликаю я своего друга. — Ты здесь, Антоша? Мне можно войти?

— Заходи, заходи! — весело откликается он. — Посмотри, какой прекрасный зал для танцев! Как ты думаешь?

— Для каких танцев? — спрашиваю я, ничего не понимая.

Однако Антон не отвечает на мой вопрос и обращается к человеку, стоявшему рядом с ним:

— Так вы говорите, что здесь была когда-то гимназическая церковь?

— Да, была. Все когда-то было. Была и церковь, — со вздохом отвечает мужчина.

— А после того что было?

— Да за время революции всего было. И клуб было начали, и так далее. . .

— Ну вот, а вы говорите — неудобно. Прекрасно!

Пойдем, дружище, — обращается Антон ко мне, и мы выходим.

Какое-то время мы идем молча. Антон насвистывает марш, а я думаю: что все это значит? Вдруг он остановился посредине улицы и весело, победоносно захохотал.

— Что с тобой, Антоша? Боже мой, что случилось? — закричал я, не зная, как остановить этот хохот, от которого, казалось мне, мой друг может разорваться на части.

— Ничего! Ничего, братишечка! Пойдем домой, и ты узнаешь все, даже больше, чем тебе положено знать.

Я послушно побежал следом за ним.

Мы вошли в свою комнату, зажгли плошку (незабываемая, где же ты теперь?), и Антон стал говорить вдохновенно и радостно.

— Братишечка! Было это еще до войны, до революции. Конечно, теперь люди изголодались, и мне както неудобно об этом рассказывать. Но я все-таки расскажу. Приехали мы в город с Никоном-кузнецом. Я тогда еще подмастерьем был. Нам надо было купить железа для хода. Мы делали тогда ход Максиму Ширинцу, хороший ход, за двадцать семь рублей без ящика. И вот иду я по улице, а экономическая база у меня, сам знаешь, какая. Иду себе. Смотрю на окна. И тут перед моими глазами выросла кондитерская. Остановился я, чувствую — дух мне забило. Лежит на окне колесо без спиц, под конфеты разукрашенное, и такое, что глаз не оторвешь. А что происходит в моей душе, так об этом и говорить не приходится. Ну что ж, думаю, как бы это его попробовать? Трудно мне было побороть себя. Захожу я в кондитерскую, вынимаю пять рублей, которые дал мне кузнец как раз на две шины. «Почем, спрашиваю, вот эта штука?» А барышня посмотрела на меня, видит деньги. «Рубль двадцать», говорит. «Рубль двадцать? Пустяк! Дайте попробовать». — «Нельзя, говорит, начинать, но есть начатый. Извольте». И ножиком чик, подает мне кусо-

чек, тоненький, как пятак. Положил я его на язык, а он, как дым, и растаял. Ну, до чего же, друг ты мой, вкусно! Вырос, революцию прошел, но об этом не забыл. Спрашивает меня барышня: «Ну что же, завернуть вам торт?» «А, так вот оно, думаю, что такое, — торт. Не удивительно, что он такой вкусный». «Нет, говорю, не нужно. Не нравится». Повернулся я и вышел.

И Антоша снова захохотал на всю улицу.

— Даже самому стало неловко. Вышел. И давай ходу по железо. Пришел — Никон ждет меня и ругается.

Я терпеливо выслушал своего друга. Потом сказал:

— Я надеялся, что ты что-то придумал, а ты всякую чепуху вспоминаешь. Торт... Даже смешно...

— Подожди, — закричал Антон, — подожди! Теперь у нас люди, можно сказать, ячкашу едят и ни о чем другом не мечтают. Да это только так кажется, что не мечтают. На самом деле это не так. Ведь если подумать о человеческой душе, так для нее торт, если бы только он был...

— Торт? Сейчас? — Я захохотал еще пуще Антона. — Ха-ха! Тут дети умирают от голода, деньги на ячкашу нужны, а он — торт!

— Да! Торт! Именно торт, чтобы ты знал. Слушай же. В том зале послезавтра будет танцевальный вечер. Публика придет на «танцы до утра» — повеселиться после победы на военном фронте. Мы заранее объявляем грандиозную американскую лотерею. На афише большими буквами будет написано: «Среди других вещей будет разыгран торт». Спешите попробовать! Я тебе говорю, я, Антон Гвоздь, ты увидишь, что значит человеческая душа. И что такое гипнотический торт. Вот тебе план.

— Да, но где же взять торт?

— Будет. Я уже договорился. В городе нашелся мастер... А материал я достану. Торт будет.

Что я мог ответить на это? Я печально опустил голову. Мне показалось, что мой друг заболел.

— Торт? — спросил я тихо. — Антоша, ложись

спать. Утро вечера мудренее. А то ты еще неизвестно до чего договоришься.

Но Антоша и не думал ложиться спать. Он сказал мне о том, что здесь, в городе, он встретил своего боевого товарища Андрея Ключку, который был тогда командиром полка на Царицынском фронте, и сейчас пойдет к нему посоветоваться. Тот ему поможет, если я ни на что не способен. Тот привлечет публику и сам первый примет участие в розыгрыше.

Прошла ночь. Прошел день, день безумной подготовительной работы. Слепо, не думая, я подчинился воле Антоши. Я делал все, что он мне приказывал. В конце концов, у меня не оставалось другого выхода. Завтра мы должны были представить деньги.

И вот наступил вечер. Я только что вернулся из этого проклятого зала, где завтра состоятся «танцы» и будет разыгран мистический торт. Намаявшись, я едва передвигал ноги.

Открываю дверь, вхожу в комнату, — и что же я вижу на столе? Нет, что это там переливается золотистыми, зелеными, красными красками? Это была огромная, круглая коробка, и в ней торт. Антоша стоит возле него и улыбается в бороду.

— Не подходи, — говорит он.

— Почему «не подходи»? Как это «не подходи», если. . .

— Не подходи, говорю! Смотри издали, не ближе трех шагов. — И он с серьезным видом кладет возле себя наган.

— Антоша! Так мне же хочется потрогать!

— Ха! Много вас таких найдется! Потрогать. . . Сделай, а потом свое и трогай.

При этом он отпирает свой чемодан, осторожно кладет в него коробку с тортом, поворачивает два раза ключ и прячет его в карман. Я не могу пошевелиться. . .

В этот момент в комнату входит Ключка.

— Здравствуй, Ключка! — восклицает мой друг. —

Все готово! Желаю тебе выиграть! — Он еще раз открывает чемодан и издали показывает нам торт.

Мы с Ключкой стоим ошеломленные. Нас не существует. Мы — это сплошное желание, удивление, увлечение, нетерпение. Но Антоша не разрешает нам долго любоваться прекрасным созданием неизвестного мастера. Он снова, и уже окончательно, прячет торт в чемодан. Я вижу только, как захлопнулась крышка над нежной бледно-розовой поверхностью торта и спрятала от нас его чудесные рельефные грани из белого и красного сахара — они как кантики на дорогом материале командирских брюк.

Ключка стоит безмолвно, в его глазах упорный огонь.

— Гвоздь! — говорит он. — Я играю! Во что бы то ни стало, а выиграть должен кто-нибудь из наших, если не я сам. Нечего кормить тортом мещан!

Антон торжественно отвечает ему:

— Кто больше заплатит, тот и выиграет.

Тогда я подхожу и с чувством глубокого уважения и любви душу его в своих объятиях.

Ключка поворачивается на каблуках, звенит шпорами и взволнованно ходит по комнате. У него даже плечи вздрагивают от нетерпения. А в его косматой голове засела упрямая мысль — выиграть.

Мы с Антоном снова забыли о том, что почти ничего, кроме макухи, не ели.

Я не могу уснуть. Три часа промучился. Будто лежу на горячих углях. Антон ничего не хотел рассказывать. Он не раздеваясь лежал на кровати, тихо насвистывал и на все мои вопросы отвечал:

— Завтра, дружище, завтра, когда кончится вся эта история!

Наконец он уснул.

Тогда я тихонько поднялся с постели. Сапоги я нарочно снял, еще когда ложился спать. На носках я пересек комнату, подобрался к чемодану. Мне сперло дыхание. Сердце стучало очень сильно. Я приложил ухо к чемодану, будто надеялся что-нибудь услышать. Но,

конечно, ничего не услыхал. Оттуда мне отвечала мертвая тайна. Тогда я посмотрел на кровать и стал медленно поднимать чемодан. Странно! Он показался мне очень тяжелым. Между тем я хорошо знаю о том, что в нем, кроме торта, есть только воздух, больше ничего. Может быть, мне показалось? Надо проверить. Я снова взялся за чемодан. Но в этот момент Антоша поднял голову с подушки и закричал:

— Назад! Застрелю на месте!

Я отскочил к столу и невольно поднял руки вверх.

— Да чего ты? Беру я его, что ли? Ну, хотел попробовать, какой он, тяжелый или нет.

— Смотри, чтобы земля не оказалась для тебя тяжелой. Ложись!

Я лег и сразу как будто в бездну провалился. Уснул. Спал до следующего дня. До обеда, после обеда, почти до вечера.

Когда я встал, Антоша сидел за столом и что-то подсчитывал на клочке грубой синей бумаги. Я, что-то соображая, тупо посмотрел на него. Мне показалось, будто я проспал целых трое суток. Наконец я вспомнил. Но почему это в комнате темно? Что это? Утро? Вечер?

— Дружище, что ты делаешь? — спросил я Антона спустя некоторое время.

— Я подсчитываю, сколько приблизительно мы соберем, — ответил он так, будто бы между нами ничего не произошло.

«Ну хорошо», — подумал я.

— А что сейчас, Антоша, утро или вечер?

— Какое утро! Вечер, братишка. Обувайся, пора идти.

Через полчаса мы вышли из дома. Антон сам нес чемодан с тортом и при этом делал вид, что он легонький, как перина. Уже возле самого дома бывшей гимназии он свободной рукой взял меня за плечо и тихо сказал:

— Ты будешь при мне как член комиссии. Да смо-

три, чтобы на лице у тебя не было никакого метафизического выражения, когда ты разглядишь торт.

Я, не раздумывая, одобрительно кивнул головой, и мы вошли в дом.

Публика уже собиралась. Командир Ключка выполнил свое обещание — прислал музыкантов. Воинственные трубы сотрясали помещение. Стулья вскоре были заняты людьми — женщинами, мужчинами в пиджаках, молодежью, даже стариками. Я заметил, что в дверях проверяют билеты.

— А кому пойдут деньги за билеты? — спросил я своего друга.

Он посмотрел на меня как на безнадежного дурня и сказал:

— Как? Ты не догадываешься? Мы переведем их по телеграфу за границу генералу Врангелю. Но сколько там этих денег? Главное — торт.

Больше я уже ни о чем не спрашивал. В зале становилось трудно дышать. Крики и шум увеличивались с каждой минутой. Люди расцветали в звуках маршей, их лица наливались кровью. В глазах светились огоньки. Пахло пудрой, а еще сильнее — одеколоном, духами, наконец, весной, черт возьми! И, влившись в эту возбужденную толпу, я еще и еще раз сказал себе: «Антон Гвоздь — гений. Как приятно видеть эти лица, сгорающие от нетерпения!»

Мне припоминается, что, перед тем как начались танцы, кто-то играл, кто-то декламировал и кто-то пел. Что и говорить, это был настоящий вечер. А потом разнеслась первая команда:

— Мазурка!

Публика вздрогнула, как наэлектризованная. Кто-то даже выбежал на середину зала и, расталкивая публику, закричал:

— Назад! Круг! Круг! Ле кавайе, ангаже ву дам пур ля мазурка! [1]

Антоша в это время сидел за кулисами на чемодане с тортом и часто поглядывал на часы.

В зале наступила тишина. Оркестр заиграл ма-

---

[1] Кавалеры, приглашайте дам на мазурку! *(франц.)*

зурку. Сердца у всех задрожали, как ртуть, и через несколько минут помещение наполнилось шумом, стоном, шарканьем, будто бы ноги этих людей были совершенно не знакомы с «деревяшками», а на фигурах, которые сейчас кружились и подскакивали, никогда не висели платья из серой мешковинной «мануфактуры».

Вальс.

Краковяк.

Па-де-катр.

Кохaночка.

Хиявата.

Падеспань.

— Ле дам, ангаже ву кавайе пур ля краковяк! Пур ля краковяк! — выкрикивал распорядитель танцев.

Это был настоящий, природный распорядитель танцев. Его никто не избирал, он сам вынырнул из публики и стал распоряжаться. Вначале у него была прекрасная прическа. Его волосы, разделенные пробором на две части, блестели, будто покрытые лаком. Теперь волосы у него растрепались, манишка выдернулась, жилет покрылся складками, но он летал по залу, как настоящий арлекин.

— Пур ля венгерка! Пур ля чардаш! Пур ля бальный казачок! — самопожертвенно, до хрипоты, выкрикивал он.

Наконец публика вспотела, устала.

Тогда Антоша подозвал кого-то к себе и сказал:

— Перерыв.

Тот метнулся по залу, поймал распорядителя. Распорядитель наклонил ухо.

— Медам! Граждане! Товарищи! Перерыв. Ассее ву! Перерыв, сильву пле.

И как раз в это время пришли военные. За кулисы прибежал командир Ключка.

— Гвоздь! Где торт? Пора начинать лотерею.

— Пора, — сказал Антоша и толкнул меня локтем. — Ты как член комиссии выходи на сцену и объявляй.

— Что объявлять?

— Так, мол, и так, будет разыгран торт, редкость в наше время... Иди.

Я вышел. Публика уже сидела на стульях, которые принес каждый для себя из коридора и из других комнат. Передо мной волнующееся море людей, помахивающих белыми платочками. Я обвел их глазами и сказал:

— Товарищи! Невинные дети голодают. Сейчас будет ко... — Я хотел было произнести «комиссия», но сказал: — каждый будет иметь возможность принять участие в розыгрыше торта...

— Торта! — прокатилось по залу.

— Ах...

— Да, торта, — подтвердил я, глядя на сотни расширившихся глаз, на сотни ртов, которые раскрылись от удивления.

— Торт будет разыгран сейчас. И тот, кто желает выиграть торт, редкость в наше время, пожалуйста, приготовьте деньги. Торт будет разыгран сейчас! Сейчас...

Я не знал, что говорить дальше. Но я видел, как после каждого произнесенного мной слова расширенные глаза фосфорически блестели, как термометр общего настроения подскочил наконец вверх, до самого высокого градуса. Тогда я еще раз повторил:

— Торт... — и нетерпеливо обернулся в ту сторону, откуда должен был появиться Антоша.

Он появился. Вначале из-за кулис выплыли его руки, державшие коробку, потом показался и весь Гвоздь, который, торжественно и медленно шагая по сцене, пронес свое сокровище к столу, стоявшему посреди сцены.

— Торт! — воскликнули в первых рядах.

И вдруг весь зал онемел. Сколько страстного желания отразилось тогда на лицах публики! Помнишь ли ты, друг мой Антон Гвоздь, об этом?

Ты, подумав две секунды, сказал:

— Миллион. Кто больше?

И ты первым положил на стол свой последний «дензнак».

Прошла минута молчания. Я давно уже сошел со

сцены, сижу среди публики и слежу за выражением твоего бородатого лица.

— Не будем терять драгоценного времени, — говоришь ты через две секунды. — Кто больше? Ра-аз...

— Миллион сто... — раздался голос.

— Миллион сто двадцать пять...

— Миллион триста! — закричали из двадцати мест.

— Полтора! — крикнул командир Ключка.

И дензнаки посыпались на стол, образуя пухлую горку.

— Полтора! — голосуешь ты. — Р-р-р...

— Миллион шестьсот...

— ... семьсот...

— ...восемьсот...

— ...девятьсот...

— Два!

— Два сто!

— Два сто семьдесят пять!

— Двести! Триста! Пятьсот!..

— Три!

— Р-р-р...

Мой друг! Ты не напрасно тянешь это грозное «р-р...» — будто хочешь сказать «раз». У тебя нет никакого желания сказать «раз». Ты знаешь, что делаешь.

Публика была настолько возбуждена, что забыла обо всем на свете. Те, которые вначале только нервно поглядывали, давно уже шарили в карманах, в кошельках, в ридикюлях...

— Пять!

— Десять!

— Пятьдесят!

— Кто больше? Р-р-р...

— Семьдесят пять!

— Р-р-р...

— Сто! !

— Р-р...

Ах, Антоша! Умру — не забуду. Ты подчинил себе толпу, ты забрал у нее все дензнаки, которые она принесла с собой на «танцы». И когда ты увидел, что уже пора было кончать, ты выкрикнул:

— Сто миллионов! Р-раз! Д-два...

Тогда выскочил распорядитель танцев, который приберег последние сто тысяч. Бледный и вспотевший, он чуть слышно промолвил:

— Сто миллионов семьдесят пять тысяч...

— Сто миллионов семьдесят пять тысяч, — говоришь ты, беря у него деньги. — Р-р-аз! Д-два! Сто миллионов семьдесят пять тысяч — т-р-р...

Публика будто слилась в одно существо, в одно страдание, в одну дрожащую душу.

Кто-то в безумном экстазе впился пальцами в мое плечо.

— Неужели три?! Неужели он?! Ах! Воды! Воды!

Кто-то упал в обморок. Но никто не обратил на это внимания.

Распорядитель танцев стоял белее своей манишки, на которую, скатываясь с подбородка, падали капли пота. Кажется, победитель — он.

Вдруг поднимается Ключка.

— Сто миллионов сто тысяч!

Публика захлебывается. Мне казалось, что и людям не хватает воздуха. Я чувствую: если у Антоши что-то не чисто, здесь может произойти трагедия. Толпа уже не просто толпа, она превратилась в стоголового хищника. Она тяжело дышит, будто собираясь броситься на свою добычу. Распорядитель танцев — их распорядитель. Но командир! Командир... О чем он думает, этот командир?

— Скорее! — кричит кто-то. — Поскорее кончайте! Слышите? Скорее, вам говорят!!

— Трр...

— Стойте! Сто миллионов сто двадцать пять тысяч! — со стоном восклицает распорядитель танцев и кладет на стол свои последние двадцать пять тысяч.

Антоша побледнел. Что? Что ты побледнел? Отдавай поскорее распорядителю танцев торт! Он заслужил его. Он выиграл. Чего же ты медлишь?

— Сто миллионов сто пятьдесят тысяч! — выкрикивает в эту минуту Ключка и бросает на стол двадцать пять тысяч, тоже последние.

Распорядитель падает на стул как мертвый.

Публика накалилась до предела. Если сейчас торт достанется командиру Ключке, Антошу разорвут на части. Я чувствую это и встаю, будто меня поднимает какая-то неведомая сила. Антоша обводит глазами зал.

— Р-р-раз! Д-два! ! Тр-ри! ! — гремит его стальной голос.

Публика срывается с мест. Люди, как безумные, тянут руки вперед. Антоша собирает деньги и, перескочив через рампу, соскакивает со сцены в зал. А командир Ключка выбегает на сцену и хватает коробку.

— Берет! Берет! .. — Кажется, что публика сейчас кого-то разорвет.

Но командир Ключка не хватает, он действительно берет торт и так же, как и я, не сразу может поднять его. У командира горит лицо. Ха! Он не может поднять. Торт такой тяжелый... И вдруг лицо командира расплывается в необыкновенно широкую улыбку. Он ищет глазами Антошу.

— Гвоздь! — кричит он. — Сколько здесь фунтов?

— Тридцать восемь, — отвечает Антоша.

— Макуха? — спрашивает Ключка.

— Да, — отвечает Антоша.

— Какая?

— Обнаковенная. Из свирепы, — бросает Антоша.

Тогда командир Ключка вытаскивает из коробки макуху и, взмахнув ею над своей косматой головой, с размаху бросает ее своими сильными руками в зал, в проход между рядами.

«Торт», будто каменное колесо, падает, катится между рядами и гремит: гур-гур-гур-гур...

И публика вдруг все поняла. Напряженное ожидание завершается громким смехом.

Стены зала дрожат от хохота. Я боюсь, что от такого сотрясения они упадут на наши головы. Я ищу Антошу и спрашиваю его:

— Что же теперь?

Антоша выходит вперед. Публика посмотрела на него и еще больше захохотала.

Тогда он кланяется одной только бородой, будто говоря: «Вот! Такое отколоть. Даже неудобно слушать». Нет, он говорит совсем другое:

— Граждане! Товарищи! От имени Комитета помощи детям благодарим вас за...

— Тор-р-рт! — гремит зал.

Антоша подал знак музыкантам и очень вежливо и серьезно сказал:

— Даешь польку!..

Ах ты, мой странный Антон!
Огонь и Гвоздь.

Харьков, 1927



ГАВРИИЛ КИРИЧЕНКО—ШКОЛЯР

Повесть

Пистолет

Обыкновенный шестикопеечный пистолет с курком и собачкой — это прекрасное, надежное оружие, если уметь с ним обращаться. Может быть кто-нибудь думает, что это не так? Напрасно! Мой собственный опыт позволяет мне утверждать именно то, что я уже сказал.

Мне тогда исполнилось одиннадцать и пошел двенадцатый годок. В таком возрасте люди становятся уже на собственные ноги, начинают жить своим умом, авторитет родителей постепенно утрачивает свою власть. Словом, человеку хочется наконец выработать свои собственные взгляды на жизнь.

Допустим, у отца есть махорка. Лежит она, как обычно, на печке. И пусть себе лежит до определенного времени. Она никому не мешает. Но если, я говорю,

вам исполнилось одиннадцать и пошел двенадцатый, то ей не улежать. Во-первых, сам по себе появляется интерес:

«А если взять и отсыпать полпачки, а потом, по дороге в школу, залезть с товарищами под Бобринецкий мост и закурить? Что б было?»

Уверяю вас, что это не одна голая идея. Будьте уверены, что через несколько дней она превращается в действительность.

Ребята, конечно, будут страшно удивлены. Это вполне понятно. Посыплются вопросы:

— Где ты взял?

— Вот герой!

— Неужели украл?

— И ты не боишься? .. Т-сс! Вот так дело!

Конечно, Ладька может не поверить, что ты на самом деле украл махорку. Он непременно скажет, что ты ее нашел, а найти, мол, всякий дурак может, не то что там герой.

Но почему он так скажет?

Понятно, почему. Потому, что его отец не курит махорку. Вообще у него отец какой-то тюфяк. Вот почему сам Ладька никогда не сможет украсть не то что полпачки, но даже и полщепотки махорки. Значит, героя из него не выйдет. Вот он и ехидничает.

Да мне наплевать! Нужно только через два или три дня опять принести полпачки махорки. Пускай тогда попробует сказать, что я нашел! Да никто не посмеет и пискнуть! Где вы видели, чтобы кто-то один раз нашел полпачки, а потом снова в следующий раз полпачки? Нигде.

И тогда ты уже герой. А раз ты герой, то смотри, поступай так, чтобы не запятнать своего высокого звания. Неси гордо и стойко свое знамя. Допустим, тебе придется получить от отца какой-нибудь десяток розог или от учительницы опять-таки десяток-полтора линеек или квадратиков. Наплевать! Во имя идеи в старину ученики страдали не морщась, если Ефим Иванович чуть ли не совсем откручивал им уши. Вы скажете: «Э-э, так то ж Ефим Иванович. . .»

А вы думаете, что Глафира Ивановна? Она хотя и

женщина, но настоящая учительница; она, например, может всыпать ученику двадцать пять линеек даже не улыбнувшись, даже не раскрыв рта.

Сильная женщина!

Однако она терпеть не может резких звуков. Опять же — кому под силу это доказать? Только герою.

Припоминаю, что пистолет я украл у Янкеля, когда покупал у него тетрадки. Купил две тетрадки за четыре копейки, а на шесть копеек украл пистолет.

Никто, ни одна душа в нашем «отделении» не знала о моем пистолете. Знал о нем только я. И сказал я однажды ребятам:

— А хотите, хлопцы, я испугаю ее?

Нужно сказать, что хоть меня все хорошо знали — я мог, допустим, у кого угодно забрать пряники, сало, сахар, — но мне не поверили. Собственно, опять-таки Ладька. Он сейчас же сказал:

— Овва!

— Да не «овва», — ответил я, — а так, что она перекинется.

— Тю, ты смотри на него! — сказали ребята.

— Чем же ты ее испугаешь?

— Она самого земского на лопатки положит.

— Звуком, — ответил я и больше ни слова не сказал ребятам.

Словом, несколько дней в классе шли горячие споры, чем и как «он» ее испугает. Что это может быть за звук? .. Во-первых, за некоторые «звуки» она и в самом деле может дать двадцать пять линеек, но еще никогда не было так, чтобы она испугалась. Да и отчего бы? От звука? Какой же это должен быть звук?

— Ага! — подумал я. — Ну, увидите ж...

Как раз в этот день мне наконец удалось украсть два яйца. Проклятые куры зимой очень плохо несутся. Вот они и задерживали все дело. А тут еще мама — не поспеешь за ними: я в школе, а они и подберут яйца, как только куры снесут. Но на этот раз я не прозевал.

Теперь осталось лишь выменять на них пистоны.

И вот наконец за два яйца я получил полную картонную коробочку красненьких бумажных пистонов.

Помню, что у меня сердце чуть не разорвалось от радости. Они, эти удивительные кругленькие пистоны, наполненные серой и селитрой, уже лежали в моем кармане. Я смотрел на учительницу, слушал, как она объясняла нам историю, и думал: «Подожди, подожди, будет тебе завтра история...» А пистоны лежали в моем кармане тихо, обжигая своим прикосновением ногу.

Я не знаю, может ли сейчас так влиять на тело радий, как жгли тогда мою ногу пистоны.

Вечером я проделал генеральную пробу.

Я пошел на луг. Шумели ивы, позванивая своими мерзлыми ветвями. Даже перед самим собой я чувствовал себя героем. А это главное. Зарядив пистолет пятью пистонами, я вытянул руку и гордо, чувствуя, как у меня в груди забилось сердце, спустил курок.

Бах!..

Нет, я не могу сейчас описать, как это было прекрасно.

Ночью (вы понимаете, что я не мог уснуть) я решил во что бы то ни стало завтра зарядить не пять, а... десять пистонов. Пускай, пускай...

Вы не знаете нашей учительницы. Во-первых, если мы приходим на заре, когда только пропоют третьи петухи, и начинаем «осторожненько» стучать каблуками в «апарадную» дверь, она выходит в коридор и ругается. Чего, спрашивается, ругается? Разве мы знаем? Однако дверь она открывает. Мы входим в коридор и отряхиваем с себя снег. Она стоит, покрытая пышным одеялом, и вздрагивает. Пахнет от нее невыразимо прекрасно. Сорочка как снег. Тело как снег. Она подстрижена, и вся голова у нее почему-то утыкана белыми бумажными барашками. Куда они исчезают днем, мы не знаем. Учительница курит папиросу, душистую, как миро, ругает нас, как только может, и велит сидеть истуканами.

Мы сидим как истуканы несколько секунд — вечность. В классе полумрак. Учительница, значит, снова легла — досыпает.

— А я умею свистеть в четыре пальца, — сегодня разговор начинает Фома.

— Ну? .. Вот бре...

— Дурак! Вот смотри...

Нежный, как шорох, и восхитительно дрожащий вырывается изо рта Фомы свист. Это безусловно прекрасно. Но в моем кармане тайна, и по сравнению с нею свист хотя бы даже на все пальцы — это просто забава. А о моей тайне знает только эхо в заброшенном лугу да я.

Ребята пристают к Фоме, чтобы тот научил их свистеть. Он чувствует себя героем и, победоносно поглядывая иногда в мою сторону, обучает ребят вставлять четыре пальца клином.

— Вот так, — говорит он, — если хочешь, чтобы был настоящий звук.

Он снова посмотрел на меня.

«Червяк ты, — думаю я, — свистун ты!» И еще многими другими едкими словами я награждаю задаваку. Но в моей душе разгорается неприступная гордыня, и я произношу эти слова без злости.

Вдруг Ладька, который никогда и ничего не умел сделать, свистнул. Да как свистнул! Потом он никогда не мог так засвистеть. Просто раз в жизни посчастливилось человеку.

Фю-ить-фить, — гибко, как сталь, самая тонкая сталь, пролетело по классу, ударилось в стекла, потолок, стены и эхом покатилось по коридору.

Учительница в подобных случаях берет молоток и бьет им в свою дверь.

Сегодня мы думали, что она развалит школу.

День начался суровой карой. Ладька, конечно, ревел, как последний рёва, изворачивался, просил прощения и после каждого удара линейкой вырывал свои ладони, будто кто-то кидал на них горячий блин прямо со сковороды. Трус! Сопляк!

Все молчали. Лица были суровые. Ждали еще какого-нибудь события.

Я забыл вам сказать, что наша учительница ровно в двенадцать часов пьет боржом. Это слово, ну, решительно и до сих пор вызывает у меня какую-то дрожь... Да, одно это слово производило на «отделение» дивное впечатление.

— Кириченко Гавриил, принеси мне из моей спальни боржом.

Вы слышите? Боржом... Как вам это нравится?

Я мог придумать какое угодно слово, бегая весь день за овцами по широкому полю и выдумывая самые причудливые слова. Но такого, признаюсь теперь, я не мог сочинить. Откуда появилось такое удивительное слово, как Эльбрус? Я представлял его огромным брусом, о который ветры точат свои зимние крылья.

Сегодня почему-то она послала за боржомом Василия Дубинчина, будто он в этом разбирается. Я же первый ученик в «отделении», кроме того, моя мама завозят ей иногда разной живности за мое «поведение», и я до сих пор пользовался исключительным правом ходить к ней в спальню и даже крал у нее большие окурки.

При чем же здесь Василий Дубинчин?

«А, так ты вот как! — зловеще подумал я. — Десять зарядов! Ни на один меньше!» И моя рука отложила точно десять чрезвычайной взрывной силы пистонов.

— Что ты шепчешь, Кириченко? — спросила она, наливая в стакан кристальной жидкости. — Поди-ка, голубчик, к доске. Ну, подойди-ка сюда...

Хм! Чего бы это я шел к доске? Я уже неделю не раскрывал книжку и безусловно не решу задачу.

— Чего же ты стоишь как столб?

— Вот она сейчас его испугает... Хи-хи! — услышал я позади себя такое противное, оскорбительное хиханье.

Безусловно хихикал Фома. Свистун несчастный!

Мне вдруг что-то ударило в голову, и я сказал:

— Я и отсюда отвечу.

— Ш-ш-то-о?

Она хотела поставить на стол стакан и подойти ко мне. Вам понятно, для чего? Ну, а я совсем не хотел быть таким покорным теленком. Я стоял за партой, как скала, хотя коленки мои дрожали и под кожей пылала кровь. Это было, безусловно, великое восстание моего духа. Рука фатально выскользнула из кармана. Курок был взведен...

— Ш-то-о? Я тебе...

Но она так и не договорила. Чудесный громовой выстрел — ба-б-бах! — и острый запах серы понесся ей в ответ. Вы, может, думаете, что это был так себе, пустяковый выстрел? Ну, а я вам скажу, что он заполнил класс, как гром. Ха-ха! Говорят, что и я побледнел тогда. Но она... она уронила стакан с боржомом на пол, побелела, как мел, и грохнулась — на свое счастье — в кресло.

Сколько б, вы думали, она молчала? Мы уже предполагали, что она онемела. Но через некоторое время — уверяю вас, что очень долгое, — испуганные хлопцы заметили, что она шевелит губами.

— Воды! — промолвила она.

Что же делаю я? Я уже давно бросил на пол пистолет и подтолкнул его ногой под парту. Пускай теперь попробует узнать, кто выстрелил и где находится это оружие! Теперь я кричу на хлопцев:

— Да поскорей давайте воды! Фулиганы!..

А сам перевожу холодный взгляд на Ладьку, затем на Фому, которые дрожат словно недорезанные цыплята. Но учительница уже пришла в себя.

— Встать! — скомандовала она, как старший унтер-офицер. Я при этом вспоминаю именно старшего унтер-офицера, нашего соседа, который пришел «на побывку» и за рюмкой водки ежедневно демонстрировал нашим родителям все эти грозные команды...

Однако мне не нужно было вставать, я и так уже целый час стою «как столб» — так думает она. Нет, я стою точно скала — так оно и было на самом деле.

Все, как один... Что там как один! Никогда еще отделение не поднималось так, как в этот раз. Ученики сорвались, а не поднялись с мест.

— Что это? Что это, я вас спрашиваю, ослы, эфиопы? — промолвила она так тихо, что я даже... собственно, не испугался, а так просто мне почему-то стало не по себе. — Кто это? Я вас спрашиваю, каторжане закоренелые! Кто совершил такую гнусность?

«Ну, — подумал я, — с нее довольно было бы и пяти зарядов. Теперь беды не оберешься».

Все стояли молча, как деревья, как камни. Ну, наш

класс чтобы выдать кого — этого нет. Да никто и не знал, кто стрелял. Я сидел на задней парте, а выстрел раздался будто с неба. Только проклятый запах и дым! Они-то и погубили меня. Говорят, даже заметили, как вспыхнул огонек. . . Я не помню таких подробностей.

Но что делает она? Она подходит прямо ко мне и нюхает. Нюхает вокруг меня, потом лезет под парту, нюхает там. Я заглядываю ей за ворот и вижу, как у нее краснеет сначала шея, а потом грудь.

— Вон! — говорит она с рыданием. — Вон с моих глаз, арестант уголовный!

— Глафира Ивановна! — вырвалось у меня.

— Вон, к свиньям, навеки вон, чтобы мои глаза не видели тебя, отраву моей печени! .. Инквизитор моих нервов! Вон! Ты! ..

Таких слов она никогда еще не говорила. Я не хочу их повторять, хотя они и не подействовали на меня. Не хочу принципиально.

Подумайте сами: что мне оставалось делать? Она даже не подумала о линейке. Она даже не дотронулась до моих ушей. Она не захотела иметь со мной никакого дела. К чему было мне проявлять ненужную навязчивость?

Вон — так вон. Я взял и ушел. А что бы вы сделали на моем месте?

Во-первых, она думает, что я выстрелил из ключа, гвоздиком. Ну, а разве ж это такое большое преступление? Могло это произойти совершенно случайно. Значит, нужно будет сказать кому-нибудь, чтобы завтра достал из-под парты пистолет. А потом, через несколько дней, я снова буду сидеть в классе и приносить ей из спальни боржом.

Так рассуждал я, дожидаясь под Бобринецким мостом, пока товарищи будут идти из школы. Я, собственно, мог пойти домой и без них. Герои не нуждаются в аплодисментах. Но этим я мог оскорбить их.

И в самом деле. Когда я вышел из-под моста им навстречу, они встретили меня криком и даже взялись нести мою сумку с книгами. Они не знали, что в честь героя можно произносить речи, и только каждый из

них давал мне — кто перо, кто огрызок карандаша, кто половинку резинки, кто листочек новой промокашки.

Да, за такие волнующие минуты стоило пострадать.

— А пистолет вы не нашли? — спрашиваю я между прочим.

— Какой пистолет? — удивленно спрашивают товарищи.

Я загадочно улыбаюсь, обнимаю за шею одного, и мы отходим с ним в сторону. Я даю ему директиву, где и что. Он гордится моим доверием.

Что и говорить, это был знаменательный день!

Как же разворачивались события дальше? Учительница через десятского передала отцу, чтобы он зашел к ней. И это было как раз в то время, когда я собирался «в школу», набивал сумку книгами, требовал от мамы, чтобы они дали мне сегодня пирожков, и тому подобное.

Вы понимаете, как это было неприятно!

— Что, снова какую-то пакость устроил? — спрашивают у меня отец.

Всем своим видом я выражаю искреннее изумление. Что я мог такого сделать? Отец могут спокойно сидеть себе дома, что там она еще придумала! Через несколько дней мы собираемся заколоть кабана. Наверное, она узнала об этом. Но окорок должен добрых три-четыре недели висеть в дымоходе, пока будет готов. Чего же теперь идти?

Отец молчат. Я, успокоенный, надеваю сумку через плечо. Товарищи — они знают, как нужно поступать, — уже зовут меня в окошко. Я выхожу к ним. Мы направляемся в школу.

Однако как все же тяжело высидеть несколько часов под мостом! Вы себе даже не представляете этого. Фантазия уносит вас на волшебных крыльях. Где только вы за это время не побываете! Но наконец становится холодно. Ноги мерзнут, пирожки уже давно съедены, теперь остается только ждать, когда ребята будут идти из школы.

И вдруг неожиданно дело осложнилось. Во-первых, сегодня они идут без крика. На их лицах разочарование.

Я выхожу им навстречу, протягиваю к Гераське руку за пистолетом. Все молчат. Гераська даже не смотрит на меня.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Никакого пистолета там нет, — отвечает Гераська.

Этого я уже не ожидал. Неужели он посмел украсть мой пистолет, спрятать его в другом месте и теперь думает, что я поверю ему?

— Отдай, — говорю я ему, — сейчас же! Отдай, если не хочешь, чтоб я тебя стукнул по «чернильнице»! — У него вечно вся морда была в чернилах, просто удивительно, как это у него получалось.

— А ну, вдерь! — бросает он, глядя исподлобья.

Вы слышите, как он выговаривает это слово? Он говорит «вдерь»... Каждому ясно, что это сказано с пренебрежением. Этого я уже не могу снести. Я смешаю его с грязью... Да я ему...

— Не трогай! — кричат ребята. — Он здесь ни при чем! Пистолета, может быть, там и не было. Х-хи...

Опять Фома. Несчастный, он думает, что поддел меня!

Но оказывается, что пистолета и в самом деле под партой не оказалось. Он исчез, как в сказке. Учительница безусловно что-то да знает об этом. Так думают все. Она всыпала Гераське шестнадцать квадратиков по пальцам, как только тот наклонился под парту. Но она не спрашивала его о том, что он там ищет. Конечно, Гераська сам виноват: чего ему было наклоняться, если перед этим он и так уже осмотрел все парты? Но почему она не спросила? А зачем ей было спрашивать, если она наверняка знает не только то, что там был пистолет, но и то, где он сейчас?

Вот так запуталось дело.

— А кто приносил ей боржом?

Эта мысль была гениальной. Как молния. Такую прозорливость мог проявить только я — с этим все согласились. Но Василий Дубинчин вдруг будто сквозь землю провалился. Мы только теперь это заметили.

— Ну, ясно, он видел пистолет у нее в спальне.

Барбос! Пускай не думает, что у него после этого ноги будут целы!

Нам теперь ясно, что пистолет у нее в спальне и выкрасть его оттуда нелегко. Но по крайней мере мы знаем, где он. Впрочем, только на небо невозможно забраться. А что касается учительшиной спальни, так мне известны некоторые другие входы, кроме дверей из коридора.

Итак, я посвистывая иду домой и иногда метко попадаю камнем прямо в лоб смелой собаке.

Представьте же себе, что я вижу, входя к себе в дом. Возле печи стоят моя опечаленная мама и встречают меня такими вот словами:

— Доучился? Достанется теперь тебе от отца на орехи. Ах ты неслух, свинья ты грязная!

— Что такое? У меня от ветра уши заложило, я ничего не слышу. В чем дело?

На столе лежал мой пистолет.

— Мой пистолет?! Как он сюда попал? Вы не знаете, чей это?

— Будет тебе пистолет! Вот войдет сейчас отец...

Вижу, что вы ничего не понимаете. Но я тоже не ожидал, что отец, несмотря на всю убедительность моих слов, все-таки взяли да и пошли к учительнице. Однако тут уж я догадался, что так оно и было.

— Прячься, — вдруг сказали мне мама.

Но об этом надо было им сказать немного раньше...

Раскрылась дверь. Вошли отец, при этом у него в руке, хотя она и была за спиной, я заметил одну вещь, по которой я сделал правильные выводы о том, что мой отец вот только сейчас были на лугу. Тут я напомню вам, что тогда начинался март и постепенно оживлялись деревья, особенно лоза. У нас на лугу росла необыкновенная лоза. Может быть, кто-нибудь знает, что это за гибкое дерево? Поэтому я не смею напоминать вам об этом лишний раз. А кто не знает, пусть извинит меня, все равно ему не понять этого.

Одним словом, отец принялись вести со мной беседу. Мне кажется, началась она так:

— Ну, стрелок, гайдамака... Доигрался? Выгнала? Совсем прогнала?..

И при этих словах рука отца поднялась из-за спины вверх и...

Собственно, я думаю, что этот диалог можно без большого ущерба для рассказа и не описывать. А еще и потому, что дальше он должен повториться значительно выразительнее. Это когда дело будет идти о ветчине.

Ветчина

Очень вкусная вещь. Я об этом хорошо помню. Мне уже тридцать один год, и за это время мне пришлось отведать много вкусных блюд, но ветчина... Нет, я до смерти ее не забуду.

Было это так.

Оправившись после вышеописанной «беседы», я почувствовал себя неплохо. Проходят дни, незаметно складываются они в недели. Я не могу даже поверить себе. О школе мне совсем никто не напоминает. Однако какой-то внутренний голос подсказывает мне, чтобы я не очень-то часто попадался на глаза отцу. Я так и делаю. Есть очень много мест, куда я могу пойти: например, к бабушке, потом — к крестному в третий взвод, да еще остаются домá, где я из-за этой школы давно не был. Как видите, теперь у меня не хватает даже времени. Хлопцы завидуют мне необычайно... Недавно мы все-таки закололи кабана. Отец готовит ветчину, вскоре будет пасха, и я буду есть ветчины сколько захочу.

Как это прекрасно звучит в рассказе! Но в жизни все имеет свое лицо и изнанку. Как только закончилось копчение ветчины в дымоходе, я выяснил, что самый большой кусок готовился — для кого, вы думаете? Да, он готовился для учительницы.

Я должен буду снова сесть за книги и забыть обо всех, и о крестном; отец думают, что им удастся-таки уговорить учительницу и меня снова примут в школу. Они ходят к ней чуть ли не каждый день и говорят, что она стала смягчаться. А я себе думаю, что лучше бы она окаменела навеки...

Тем временем отцу наконец удалось уговорить учи-

тельницу, и они пришли к такому соглашению: я принесу ей окорок, а она уж сама научит меня стрелять... Последний пункт этого соглашения я чувствую только силой своей интуиции, потому что мой отец о нем даже не вспоминали, наверное из-за того, что завтра плащаница и они не хотят портить мне настроение. Любимый тятя! Они сумели воспитать во мне чувство благодарности.

И вот приближаются самые трагические моменты в моей жизни. Я надену завтра новую сорочку, намажу оливой волосы — готовлюсь идти к плащанице.

Обычно это бывает очень весело. Вспомните: как было у вас? Вы кладете в карман два красных яйца и очень медленно, чтобы не побить их, идете в церковь. Вы должны положить яйца в медную миску, стоящую перед плащаницей. И вот только вы вышли за ворота, вам уже хочется бежать так, чтобы даже земля дрожала под ногами; где-то по дороге ударить камнем собаку, где-то забежать на реку. Однако вы не можете компрометировать вашего отца: им по каким-то причинам должно быть стыдно за такого прыткого сынка. Да, вы прекрасно это понимаете, но ваши ноги не хотят с этим мириться, так и летят вперед. Все-таки вы овладеваете собой, и ваше сердце наполняется от этого невыразимым чувством удовлетворения.

Однако не будем отклоняться в сторону. Я сказал, что в этом году дела пойдут немного иначе. Прежде всего я должен буду отнести учительнице окорок. Это как раз по пути. А оттуда уже я пойду к плащанице.

— Ну, смотри же мне! — отец обращаются ко мне вполне серьезно. — Неси ветчину и помни: не донесешь — домой не приходи...

Мне смешно. Я не донесу? Да кто ж тогда донесет? Сколько она там весит? Восемнадцать фунтов? Если б это говорили не отец, я обиделся бы.

— Я тебя знаю, — снова говорят отец, — о твоей силе я не говорю, ты если захочешь, так и мужика с места сдвинешь.

— Так чего же вы в таком случае?

— Ну, ну, ты, сорви-голова, не рассуждай! Чтобы нигде не задерживался да быстренько шел. Так и знай:

не положишь ей на стол ветчину — домой не возвращайся.

Я не понимаю. Такое вступление, оно может на всякого человека, хотя тот совсем ничего и не ждет плохого, навеять тоску. Хотя я и не очень-то радуюсь перспективе снова стать школяром, так все ж я не дурак какой-то, чтобы по дороге ветчину потерять! Ведь не иголка же?

— Давайте, что ли, а то я уже иду. Так никогда и не соберешься.

И вот, будто пустой сверток, хватаю я ветчину под правую руку. Хотя она все-таки тяжеленькая. Отец не пожалел для учительницы половины свиного зада с ногой.

— Перекрестись-ка ты, — говорят мне мама.

Это легко сделать свободной левой рукой. Я осеняю себя крестом и выхожу.

Ну? Как мне идти? По верхней дороге или же через село? Сворачиваю к селу и вдруг слышу такие отцовские слова:

— Куда, куда поворачиваешь? Ступай по верхней дороге — там меньше собак и ближе. Нечего тебе плестись по селу, чтобы каждый видел!

Я должен был послушать отца, и надо было бы мне идти до самой школы по верхней дороге.

Было бы! Легче всего потом говорить: «Было бы лучше не так, а этак». Да мало ли чего не бывает в жизни... Очевидно, существует такая сила, которая тянет человека с правильного пути.

Коротко: как только за ивами скрылся наш дом, я свернул — вы же знаете куда. Почему? Что заставило меня пойти по дороге, которая шла через село? До сих пор не могу вам сказать. Не допускаю мысли о том, чтобы я в ту минуту подумал о качелях... Правда, у цыган вошло в обычай каждый раз на пасху ставить на улице, напротив своей кузни, перекидные качели. Ах, какие же это были качели! Ветер, а не качели! Цыгане таки хорошо зарабатывали на них. Но сегодня только пятница, и откуда я мог знать о том, что качели уже готовы? Глупости! Я об этом совершенно не думал.

Я просто иду себе по селу, как положено порядоч-

ному человеку. Разве я не смотрю себе под ноги, разве я падаю или дразню собак? Ничего подобного. Я гляжу вперед и вдруг что-то замечаю в конце улицы. Как вам сказать... Может быть, это и есть те дурацкие качели... Кто его знает. Не знаю. Меня мало интересует, что там стоит.

Ну, если подойти немного ближе, ясно, что это и в самом деле качели. Представьте себе: сегодня только пятница, а они уже покачиваются, готовые к вашим услугам.

Я остановился на минутку, чтобы только переложить ветчину из одной руки в другую, и вдруг чувствую, что мне стало нехорошо.

В голове страшно зазвенело. Перед глазами все закачалось. Земля и люди — все пошло передо мной кругом. И одновременно — что с моим сердцем? Почему оно так сладко сжалось?

Надо было мне не сворачивать с дороги и пройти мимо качелей. Но я ж сказал, что есть такая сила... Она притягивает меня сюда. Я подхожу, здороваюсь с цыганчатами, которые кое-где заканчивают установку качелей — ведь они почти совсем готовы.

— Эх, и качели ж, милый мой! — приговаривает один цыганчонок. — Эх, и качели! Колокольня!

На это я ничего возразить не могу. Где там возразить! На мой взгляд, он даже недооценивает качели. Я уже сказал, что это был ветер, а не качели. Если стать на них, надеть два кольца на ноги, чтобы не соскочить с подножки, и потом качнуть — раз! два! поддай! ух! гони! гони! — так можно очень легко взлететь выше верхнего валика, так, что все село будет раскачиваться под качелями, а потом р-р-аз! — и пошел вертеть... Я мог перевернуться пятнадцать раз подряд. Куда там Фоме! О Ладьке уж и не говорю. Ничего подобного им и не снилось. Я могу это доказать когда угодно, хотя бы и сейчас, если на то пошло. Только мне нужно сначала отнести Глафире Ивановне вот эту ветчину. Помня о наказе отца, это нужно сделать сейчас же, а потом можно возвратиться сюда и доказать, что я не хвастаюсь.

Вы говорите, что так бы и поступили на моем

месте — сначала отнесли бы ветчину, потом, может, еще пошли бы к плащанице, а уж потом вернулись бы на качели?

Все это слова! Теория! Кто понимает толк в качелях, в этих прекрасных критериях подлинного геройства, тот, наверное, так не скажет.

Словом, я следую определенным законам логики: зачем я должен потом возвращаться сюда и зря тратить на это время? Я сейчас встану на качели, а потом отнесу ветчину и пойду себе к плащанице. Где бы тут ее положить?

— Слушай, — говорю я цыганчонку, — а ну, давай я покачаюсь.

— Два яйца, сердешный, два, тогда и качайся, — отвечает он по-хозяйски.

Безобразие! Я ведь забыл, ну совсем выпало из памяти. Где же взять эти два яйца? Два, только два! А послезавтра я получу их у мамы целый десяток! А цыганчонок еще и добавляет при этом:

— Ну, милый, ну, ну! Быстрее, быстрее, потому что мне очень некогда...

Теперь, когда мне тридцать один год, я понимаю, что он никуда, собственно, и не спешил, а так только... А тогда я должен был принять решение с гениальной быстротой.

— Получайте! — и я вытащил из кармана и отдал ему два яйца, те, которые были предназначены для глубокого блюда у подножия святой плащаницы...

При этом я поплевал на руки, как положено, чтобы они не горели и не скользили. Встал на конец доски. Ступни вдел в кольца. Подергал поручни. И дрожь прошла не только через мои мышцы, но даже через качели.

— Поддай!

Качели медленно стали раскачиваться. Гой... Гой...

— Раз! Раз!

Качели скрипят подо мной, точно скрипка. Я раскачиваюсь с каждым разом все сильнее и сильнее.

— Ты, ты... чтоб ты мне, сердешный, не упал! — кричит с земли цыганчонок.

Ах! Лучше бы они не заботились обо мне! Теперь я был во власти стихий.

— Смотрите! Эй! Смотрите!..

Я качался уже вровень с верхней перекладиной. Подо мной шевелились какие-то муравьи. Это, наверное, цыганчата и цыгане, повыходившие из дома.

— Гаря! Гаря! Ой-ой-ой!.. Что он делает?

Ага, вот он что делает! Грудь моя переполнилась несравненным счастьем. Блестящая мысль прорезывает мой мозг: еще два яйца легко можно будет украсть во время целования плащаницы... Эта идея еще больше увеличивала мои силы для разгона.

— Смотрите! Делаю колесо...

Р-раз! Пошел...

На одно мгновение я становлюсь головой вниз, потом поручни покачнулись и пошли через валик вкруговую.

— Ух!

Раз...

Два...

Три...

Вы знаете, что это значит? Это я оторванный от земли, создаю в воздухе безумные петли. Село, как волшебное, кружится подо мной. Жаль, нет здесь Ладьки и Фомы, они лопнули бы от зависти. Но я забыл о них и обо всем на свете.

Четыре...

Пять...

Шесть...

Семь...

— С ума сошел! — кричат мне с земли. — Убъешься! Хватит!

Восемь...

Девять...

Д-де...

. . . .

Я немею.

То, что я увидел на земле и почувствовал, когда вертелся в десятый раз, было выше моих сил.

— Габа-а! Ксс-с... Брось! Туйва! Куда? Бери!..

— Лови! Держи!

— Фить-фить, Барбос!
— А-а-а! Га-ла-ла!..
— Гала-ла-ла-ла-ла...

Что? Что? На том месте, где лежала сумка с ветчиной, — а я положил ее возле дверей кузницы лишь на одну минутку! — теперь ничего не было. Ничего! Я хорошо видел ее с качелей. Каждый раз, когда я перелетал верхнюю перекладину, я видел возле кузницы ветчину. А когда взлетел в десятый раз, я уже не увидел ее. Они подняли крик, словно в аду. Машут кулаками. Хохочут... А, они кричат на собаку! Однако ни один из них не тронулся с места, они только улюлюкали. Наверное, собака с моей сумкой уже далеко убежала...

Вы же знаете, что качели не так-то легко остановить, если они сильно раскачались. Для того чтобы их быстро остановить, нужно чтобы кто-то снизу схватил за поручни, придержал их.

Как же! Хоть бы кто-нибудь палец подставил! Наверное, им было не до этого... Я слез, когда качели уже совсем остановились.

— Что там было? Что там было, в этой сумке, сердешный? — спрашивают они у меня. И старики и малые перебивают друг друга.

— Отдайте! Вы! Отдайте ветчину! — кричу я не своим голосом. — Ветчину!..

— Батенька мой, — говорит старая цыганка, — о какой ветчине ты намекаешь?

Я намекаю! Что я мог на это ответить?

— Может быть, я погадаю милый, какая тебя ждет судьба...

Моя судьба... Где эта собака?

— Где эта собака, я вас спрашиваю!

И тут я увидел на огороде возле пруда какую-то собаку; она в самом деле что-то тащила, но я не знаю, что.

— Отнимите!..

Ну, что отнять? Что отнять, когда там, может, лишь кость и осталась, если ветчину в самом деле утащила собака?.. Вы спросите меня, почему я так говорю? А я так говорю потому, что это еще большой вопрос, какая

собака ее взяла. Вопрос, который и поныне не ясен для меня.

Однако двое цыганчат срываются с места и летят туда, к собаке. Силы оставляют меня, и я тихо приседаю на землю. Шум, советы, сочувствие — все смешивается в моих ушах и разрывает мне голову.

— Ветчина, — шепчу я, — ветчина... пистолет... Глафира... Батя...

И что-то горячее, как смола, побежало из моих глаз и въелось в щеки. По дороге я раз или два падал, — не припомню точно, сказал ли я вам об этом, — поэтому руки у меня были не очень чистые, и теперь слезы омывали мои кулаки. Да, должен признаться, то были слезы. Я, наверное, размазал их грязными руками по лицу, ибо говорили мне потом, что это была очень трогательная картина. Не видел, не буду утверждать. Вообще позвольте не останавливаться больше на этом эпизоде.

Прибежали цыганчата. Они кричат то же самое. От моей ветчины осталась одна кость. Кто его знает, была ли она от ветчины или так, обычная кость, может, от какой-нибудь позапрошлогодней коняки.

Что же мне теперь делать? Мне не с кем даже посоветоваться, я должен до всего доходить собственной головой. И вот что я придумал: я сейчас пойду к учительнице и расскажу ей чистую правду. Почему-то мне казалось, что учительница должна понять мое положение и стать выше какой-то там ветчины, без которой она, в конце концов, легко может обойтись.

Идеализм? Может быть. Но я тогда понятия не имел о таких словах. Наоборот, мне стало совсем легко на душе.

Я прихожу к ней, стучусь.

— Кто там?

— Я, Кириченко Гавриил.

— Какой Гавриил?

— Хторой.

— А-а, — говорит она протяжно, — войди.

Я немного открываю дверь, так, чуть-чуть, и осторожно просовываю голову.

— Здравствуйте! С плащаницей будьте здоровы.

— Что же, — говорит она, — спасибо. Будь и ты здоров.

И кажется мне, что она внимательно посмотрела на меня и заметила, что я был с пустыми руками.

— Отец прислал? — спрашивает.

— Отец, — говорю ей правду.

И тут я стал говорить, чтобы Глафира Ивановна не беспокоилась, тятя действительно передали ей восемнадцать фунтов ветчины, с которой случилось несчастье. И я от всего сердца уверяю ее, что я не буду больше, пусть она простит меня, а иначе нет мне возврата домой из-за отцовского характера.

Она слушала меня, слушала, и вижу я, что это ей не по душе.

— Ступай же откуда пришел, — говорит она после моей искренней исповеди. — Не окорок, — говорит, — важен, а неисправимость твоя важна. Запомни мое слово: будешь ты когда-нибудь в тюрьме. А в школе тебе нет места после таких художеств...

И этим словом она убила меня. Таким оно показалось мне оскорбительным, таким жестоким: художеств...

Я уже не помню, как уходил от нее. Больно мне стало за всех страждущих.

— Нет правды на свете! — воскликнул я и решил не идти к плащанице: теперь уж никакая плащаница не поможет.

Иду по той дороге, что ведет к дому, а на сердце у меня, сами знаете, до чего невесело. «Пойду я, — решаю себе, — под мост и подумаю. Что ж теперь будет?»

И вот я подхожу к мосту, где я недавно испытал такое сладкое и такое недолговечное счастье.

Но долго ли человек может высидеть под мостом? Не такой уж длинный теперь день. Просидел я его, а дальше что? Дальше наступает вечер, налетает откуда-то холодный ветер, начинают шуметь ивы. В некоторых домах уже блестит огонек. Это еще больше отрезает мое пристанище от окружающего. Я не трус, но все-таки лучше уйти отсюда.

«Мама сейчас замешивают тесто для кулича», — приходит мне в голову.

Я выбираюсь из-под моста и ухожу. Правды от меня теперь не ждите. Я так просто и скажу отцу, что ветчину передал учительнице, положил на стол.

«Что же она говорила?» — спросят у меня отец.

«А что говорила! — отвечу я отцу. — Говорила: «Скажи отцу большое спасибо». Вот что она говорила».

— А где же ты бегал до вечера?

«Не бегал, а ждал, — скажу я, — потому что ее очень долго не было дома. Вот и все».

С такими мыслями я и подхожу к дому.

А кто это там стоит у ворот? Если это отец, так я не знаю, кого он там поджидает. Лучше уж я обойду вокруг дома, чтобы не мешать ему.

Но только я высовываюсь из-за угла, чтобы тихо проскочить в дверь, как отцовская рука вдруг хватает меня за правое ухо.

Вырваться я не мог. Да и никто б не мог. Об этом даже говорить нечего, чтобы можно было вырваться от отца. У них же такие цепкие руки. Вдруг у меня мелькнула мысль:

«Неужели они знают?»

Все-таки я стою на своем.

— Справился? — спрашивают отец.

— А как же, справился, — отвечаю я не очень-то робко.

— Где ветчина?

— Ветчина? Та, что вы дали? Отнес.

— Кому отнес?

— Ей.

— Кому это «ей»?

— Что вы, не знаете, что ли? Спасибо, говорит...

— Кому это «ей», тебя спрашиваю?

И тут я почувствовал, что отцу все известно. Какая-то собака уже донесла, что вот, мол, что там случилось с вашим сыном. Что там было, в той сумке? Смеху, мол, было на всю улицу. Язык у того отпал бы.

— Бейте, — говорю, — на смерть убивайте, я не виноват.

И чем меня в первый раз ударил отец, я так и не знаю. Никогда ни до этого, ни после этого так больно не было.

Как я закричал! Как извивался в отцовских руках! Смешно вспоминать об этом, когда за плечами у тебя тридцать один год. Кажется, мама выбежали из комнаты и бросились к нам. Куда там! Что мама могут против отца? А они затащили меня в сени, сняли одной рукой кожаные вожжи, а другой, извините... они спустили мой туалет. Наверное, вожжи были немного влажные... Они так резали тело, что я спокойно мог наделать всяких непристойностей, не помню уже, каких именно.

— Это тебе ветчина! Это тебе ветчина! Это еще и пистолет! — приговаривали отец. — Вот и пистолет! И качели! И собаки! И пистоны! И плащаница!..

Что это было, тяжело рассказать. Я надорвал себе голос, а ведь голос у меня был порядочный. Мама чуть не умерли. Отец обливался потом, они совсем измучились. Соседи слышали через три дома, не дадут соврать...

И... пришлось-таки снова идти к Глафире.

Пролежал я что-то около недели, и все зажило, как на каждом из нашего брата.

Очень вкусной была та ветчина. Мама потом давали мне каждый день по кусочку. Каждый день, пока я не выздоровел.

Но подождите! Неужели я Глафире Ивановне не отомщу?

Кадильница

Кроме пистолета, я еще очень любил кадильницу. Если бы вы знали, что это за вещь! В пост, когда мы говели всей школой, я только и ждал, когда из алтаря выйдут отец Александр и пройдутся по рядам с кадильницей.

Да и было на что посмотреть. Выйдут, станут возле архистратига Михаила. Чуб кучерявый, сами красивые, как дуб, и как крутанут на большом пальце кадильницу, а она только «дзинь-дзинь» — и уже вокруг целая туча. Как они это делали, кто их знает. Некоторые женщины от этого даже в обморок падали.

— До чего же отец Александр ловко кадят...

Я пытался это делать дома — тоже получалось, да не так. Правда, у меня не было таких приспособлений. Я брал небольшую тыкву, срезал меньшую половину, выдалбливал бóльшую и потом приделывал к ней крышку. Для звона я цеплял железки к веревочкам, на которые вешал свою кадильницу. У меня не было также угля и ладана, но я обходился ватой из батькиного пальто.

Если положить добрый кусок ваты, поджечь его и потом начать кадить, так дыма бывает не меньше, только не так пахнет.

Я так полюбил кадильницу, что научился пользоваться ею почти так же ловко, как отец Александр. Но однажды отец заметили, что их пальто становится все тоньше и тоньше. Дыра в подкладке была небольшая, а ваты уже и на спине не было. Оно, сказать бы, и пальтишко такое, что его хоть и все скади, не велика беда. Досталось оно отцу даром: выпивали они у Максимца, как всегда, и кто-то из их компании украл отцовский тулупчик и вместо него подарил то пальтишко. Правда, и тулупчик был тоже рваный и горелый, но все-таки пальтишко еще хуже. Дыра на дыре. Мама все бранились, что не могли как следует залатать его. А отец, конечно, должны были уже беречь его. Вот поэтому они и заметили, что пальто будто усыхает...

— Это ты, наверное, разбойник? — спрашивают они у меня.

А я в это время как раз подошел к пальто и одну руку держал за спиной.

— Очень оно мне нужно! — говорю. — Наверное, мама на фитильки для лампадки берут.

— На фитильки? — говорят отец. — Смотри мне, а то я покажу тебе фитильки! Разве на фитильки столько пойдет?

А оно и в самом деле никогда не пойдет. А я и не заметил, что ваты там почти не осталось. Местами пальто стало уже тонкое, как пленка.

— Ну, — говорю, — разве я знаю, куда она девается, эта вата? Изнашивается, а вы на меня...

Повернулся я, сзади у меня кадильница... совсем позабыл... А отец сразу и догадались.

— Ах ты, — говорят отец, — шарлатан ты первой марки! Что же ты врешь? Я думал, что он кизячком кадит, а ты одежду портишь... Вишь, какой священник нашелся, чтоб у тебя...

Схватили они эту кадильницу да об мою голову — стук. Так она и разлетелась.

Однако пришлось мне все-таки еще раз увидеть настоящую кадильницу. Как это случилось? Да никогда уж я не думал, что буду иметь дело с настоящей, серебряной кадильницей. Держать ее в руках, видеть, как она перед самыми твоими глазами мелькает, позванивает цепочками... Да разве тогда я мог об этом даже подумать?

Но жизнь такая странная! Иногда она складывается так, что кадильницы из тыквы и серебра одинаково заканчивают свою службу, приблизительно как та, о которой я только что рассказывал. Только не на одной и той же голове.

Таким образом... расскажу вам и об этом, не буду забегать вперед.

Ванна

После злосчастной ветчины отцу все-таки удалось как-то упросить Глафиру. Она снова приняла меня в школу. Это уже, кажется, в шестой раз. Хорошо не помню.

И вот снова начинается чудесная осень. Я уже перешел в третье отделение. На огороде кое-где еще остались помидоры, огромные, красные, аж горят. Станешь на него сапогом, а он только чвирк. Станешь на другой, на третий — чвирк-чвирк...

А на «переменах» в школе ребята едят арбузы. Потом мы играем на завалинке в пуговки.

В четверг после большой перемены у нас всегда бывает закон божий.

Батюшка отец Александр приезжают к нам всегда на почтовых лошадях. Его кучер предупреждает нас о том, сердиты сегодня батюшка или нет.

— Сегодня батюшка смирные, не бойтесь.

— Разве? А вы откуда знаете?

— Да уж знаю, — говорит он, прищуривая левый глаз. — Есть такая триектория, что знаю.

Кучер батюшки служил когда-то в солдатах и в его речи было много таких слов, о которых даже учительница понятия не имела. Мы однажды спрашивали у нее. «Не знаю, — говорит. — Не говорите глупостей». Так вот мы и спрашиваем у кучера:

— А какая же она?

— Триектория?

— Да.

— Э, это вещь, хлопцы, непонятная, она и есть, и нет ее. Я сам не видел, потому что она, извините, в воздухе.

— И угадываете?

— Завсегда. Говорю, «смирные» — значит смирные. Говорю «сердитые» — значит держитесь...

И уж тогда мы держались. Потому что кучер всегда говорил правду: батюшка входили разгневанные, и как только у кого-нибудь из учеников заскрипит парта, они тотчас берут его за нос — тот, бедный, даже посинеет.

— Отвечай: кого Самсон побил ослиною челюстью?

Так он, сердешный, пищит-пищит:

— Хвистили... хвисти... хвистилимлян...

— Хвистилимлян? Насмехаться над законом божием?!

И так они ему нахвистилимляют, что до новых веников помнить будет.

Но, приехав, отец Александр сначала заходят к Глафире Ивановне. И уже если они зашли к ней, так у нас есть время поиграть. Они ей тоже закон божий преподавали, что ли, кто его знает. Не знаю. Лишь бы нам было когда поиграть. Другой, бывало, открутит все до единой пуговки от штанов и от сорочки и проиграет их.

Но мне везет. Я уж как выиграю, то они мои, а как проиграю... ну, это мы еще увидим.

Однажды играем мы в пуговки. Звонка все нет и

нет. Отец Александр еще не приехали. А тут, хоть убей, не везет. Что ударю — все мимо и мимо.

— Бери, — говорю, — не бойся, увидим, до чего сегодня дойдет.

Охота мне узнать: до чего я доиграюсь? Отыграюсь хоть немного или... Одним словом, открутил я последнюю пуговку от штанов и застегнул их деревянной палочкой.

— На честное, — говорю, — сегодня. Платить — так наличными. На.

Ударил я — мимо ямки. Он ударил — в ямку... Забрал...

— Что, — говорят хлопцы, — по-честному?

А я стою и думаю.

— Чтобы вы знали, — отвечаю им, — что по-честному.

Жаль только, что нет больше у меня пуговиц.

И вдруг мне пришла в голову одна мысль.

— Знаете, что? — говорю я ребятам. — Ставь кто-нибудь за меня пуговку. Выиграю — твой выигрыш. Проиграю — сделаю за это такое, чего никто из вас не сделает ни за что на свете.

Хлопцы смотрят друг на друга, советуются.

— Что же ты сделаешь?

— Кому?

Я таинственно улыбнулся.

— Ей. Глафире.

— Что?.. Надо знать, что ты сделаешь. А то чего ж так давать пуговицу!

— Испорчу воду.

Наступает удивительная тишина. Потом раздается хохот.

— В ванне?

— Побоишься...

И как только они сказали «побоишься», я сразу решил:

— Нет, испорчу. Что она издевается надо мной? Сегодня снова сказала, что я разбойник. А какой я разбойник? Кого я разбил? Кто докажет?.. Она думает, что это ей так и пройдет... Нет. — Тут я вспомнил про ветчину.

Нужно пояснить: Глафира Ивановна любила дождевую воду, у нее под водосточной трубой всегда стоит большая ванна. Дождевой водой Глафира Ивановна умывается.

И пусть бы кто осмелился бросить что-нибудь в ванну, или как иначе «загадить» эту воду... Как раз вчера прошел дождь. Ванна стояла наполненная прозрачной водой. Ветерок пробегал по ней, и легкая зыбь покрывала ее ровную поверхность.

— Ну, смотри же, испорть! — говорит один. — Я ставлю.

Он потарахтел коробочкой и дал мне одну «бляху» от штанов.

— Ставь и ты «бляху», — велел я товарищу.

Бросили. Моя упала ближе к ямке. Мне бить первому.

Все обступили нас. Только дышат...

— Бей, — говорят, — чего ж ты?

Я прицелился. Измерил, сколько будет до ямки. Подставил ноготь под пуговку и сильно ударил пальцем.

Пуговка подскочила и перелетела через ямку.

— Эх... — вырвалось у одного. — Как же ты бьешь!

— Бей ты, — говорю я товарищу. А у самого, чувствую, в горле пересохло.

Он ударил. Не добил, упала ближе. Снова моя очередь. Но я должен бить ту, что дальше. Если я в этот раз не попаду, все пропало...

— Целься хорошо, — советуют все хлопцы. — Бей большим пальцем.

— Да, да, большим, потому что указательный всегда неверно бьет.

Я прицелился большим. Но уж если не везет, так не везет...

Цок — мимо ямки!

А тому теперь, конечно, легко бить: обе лежат в ладонь от ямки. Он прицелился.

Цок! Цок — и в ямке.

Он молча положил в карман обе «бляхи».

Все посмотрели на меня. Что же я буду делать?

Должен выполнить обещание. Но что я сделаю, они еще не знают.

Я отхожу на полторы сажени от ванны и на минутку отворачиваюсь. Потом снова поворачиваюсь и становлюсь за ветром.

— Раз меня мать родила, раз и умирать,— говорю я ребятам. — Только если кто скажет учительнице, тому первому и умереть. Расступитесь...

— Что ты будешь делать?

— Расступитесь, — говорю, — от неприятности.

И здесь я сделал одну вещь, которую, конечно, хозяйский сын не позволил бы себе. Правда, я и сделал-то всего с маковое зерно. Но и этого было достаточно...

Хлопцы аж попадали со смеху.

— Ну, молчите же, — говорю, — умрите...

На этом бы и кончилось, если бы не Кириченко Гавриил-первый.

У нас в классе было два Гавриила. Я был Гавриил-второй, а он первый. Но тот, первый, по правде говоря, был такой дохлый! А глаза у него как два кусочка холодца.

И нужно ж было ему наесться чего-то соленого и захотеть пить. Его не было во время нашей игры, он где-то в уголке доедал свое сало, как кот, чтобы никто не видел и не попросил. Теперь он пришел прямо к ванне.

— Пить...

Кто-то хотел его оттолкнуть, но ребята не дали.

— Пускай пьет... Пей, Кириченко, пей!

Он наклонился и утопил свои губы в ванне.

Хлопцы не выдержали и так загоготали, что он все понял.

— Вы что-то сделали? — спросил он. — Что вы сделали?..

И вот один из хлопцев радостно захлопал в ладоши и, подпрыгивая на одной ноге, запищал от удовольствия, как мышь.

— Напился? Пись! А хорошая водица? Пись! То ж Кириченко Гавриил-второй туда напустил.

И сказал, глупый мышонок...

Что тут сделалось с Кириченко-первым! Он покраснел, даже посинел. Он все краснеет, краснеет да дуется, как тот индюк. А ребята полегли со смеху.

— Ничего, — говорят, — оно пользительно.

Хоть бы уж молчали!

Гляжу я: что из этого выйдет? Кириченко-первый круть на одной ноге... К учительнице!

— Заявляю, — говорит, — ты меня отравил, и я не выживу...

— Дурной! — кричат ему ребята.

А он не слушает.

— Все равно, — говорит, — заявлю, хоть и выживу. Чего ты издеваешься? Или заявлю, или откупись.

Как сказал он «откупись» — конец.

— Откупиться? А чего же? Можно. Еще и дорого дам, лишь бы выдержал, — говорю я ему и показываю кулак. — Видал? За каждое слово, которое дойдет из твоего поганого рта до учительницы, даю по три груши. Пять слов — пятнадцать груш. Десять слов — трижды десять — тридцать груш.

Груша — это когда бьешь согнутой рукой по лицу или по голове. Кириченко-первый это здорово знает.

Однако не успели мы сторговаться, как зазвенел колокольчик и возле ворот остановилась бричка. Приехали отец Александр.

Все разбежались, не успел он донести учительнице.

Но удивительное дело, — сегодня отец Александр совсем недолго были у Глафиры Ивановны. Зашли и через минуту вышли. И такое у них было лицо, будто они только что поругались. Только разве батюшка могут ругаться, да еще с учительницей?..

Однако отец Александр вошли в класс страшно злой, даже волосы шевелились, будто их ветром поднимает. А ноздри то сойдутся, то раздуются.

— Плохая триектория, — шепнул я ребятам. — Кто-то пострадает.

Только я это шепнул, так оно и случилось. Отец Александр подошли к одному ученику и пробасили:

— «Пир господень во Капернауме»!

А тот: «Пир... пир... капир... на уми... пир...» А дальше хоть бы слово. Все «пир» да «пир».

— Угу, — промычали отец Александр.

Промычали да как «пырнут» сердешного в подбородок, так тот кусочек языка и откусил. Тогда батюшка к Фомке:

— «Пир господень во Капернауме»!

— Не... не задавали... Как раз только до пира задавали, а пира не задавали... — отвечает Фомка, а сам голову в плечи втянул.

— Тать смердящая! — крикнули отец Александр. Да за нос... Хуже всего, когда за нос. Как-то так покрутят, даже зубы выкручиваются... Но Фомка уже привык, он только шмыгает носом. После этого отец Александр походили, походили между партами и остановились возле Кириченко-первого.

А тот краснеет, краснеет — сейчас лопнет. Но батюшка решили уже о Капернауме не спрашивать и задают ему вопрос о богослужении.

— Ты, поросенок. Когда священнослужитель кропит святой водой? И когда эту святую воду пьют православные христиане?

Сердце у меня так и замерло. Слышу, кто-то душится от смеха...

«Ну, — думаю, — пропало... Теперь донесет...»

— Когда православные христиане пьют ту воду, я тебя спрашиваю, тумба?

— Какую? — переспрашивает Кириченко-первый и краснеет еще гуще.

Здесь ребята не выдержали. Зубами кусали парты, а потом как прорвало... Хохот! Да какой хохот! Шестьдесят семь человек разом.

А батюшка и обращаются к Кириченко-первому:

— Так ты еще смешить? Тварь нечестивая! Ты еще комедию?..

И обеими руками взяли Кириченко за оба уха и лбом его об угол парты, лбом, лбом... Только рукава, как крылья у страшной птицы, взлетали у батюшки. Наконец у Кириченко-первого побежали из носа приметы. Тогда отец Александр вытащили из кармана огромный

платок в черном горошке, вытерли им лицо и, красные, как монастырский арбуз, пошли из класса.

После этого несколько минут стояла тишина. Отец Александр кричали на кучера, зазвенели колокольчики, и уж тогда мы сорвались со своих мест.

Это был неожиданный для нас праздник: во-первых, закон божий кончился почти в самом начале; во-вторых, все мы стали свидетелями незаурядного зрелища — носа Гавриила Кириченко-первого...

Такой нос не каждый день увидишь. Представьте себе красное разбитое яйцо, обмакнутое одним концом в чернила... И вы думаете, что этот нос Кириченко вызвал у кого-нибудь из нас сочувствие? Думаете, что кто-нибудь подошел, пожалел, спросил, болит ли? Наоборот.

— Покропил? — закричали ребята, толкая от радости парты.

— Ну как оно после святой воды?

Кириченко-первый скривился:

— В-ва-в-в-в...

— Смотрите! Он плачет! Дурак, чего ты?

Я сразу понял, что хлопцы наделали мне беды. Зачем было трогать человека, когда у него и так плохое настроение? А после этого он, конечно, пойдет и донесет...

И пошел. Под такое настроение каждый донес бы. О себе не говорю, я не донес бы, а он, конечно, слабее характером. Пошел он к Глафире Ивановне и обо всем, как на исповеди, рассказал. Даже больше, чем на исповеди, потому что Глафира влетела в класс с стиснутыми зубами и синяя, как свекла, от гнева.

— Кириченко! — закричала она. — Кириченко Гавриил-второй!

— Я, Глафира Ивановна, здесь!

— А, ты здесь, ты здесь, крокодил несчастный?

— Здесь.

Она остановилась напротив меня и взяла меня за грудки.

— До каких же пор?.. До каких пор ты будешь уменьшать мою жизнь? Что ты наделал!

— Разве ж я уменьшаю?

— Чего ты напустил в дождевую воду?!

— Это ложь. Я только постоял возле нее. Разве я не понимаю, что дождевую воду нельзя портить?

— Понимает, а сам испортил, — говорит Гавриил-первый.

— Замолчать, или я с ума с вами сойду! Пошел за печку на двенадцать дней, а потом посмотрим...

Двенадцать дней постоять за печкой! Это много. Там страшная жара, тесно, закуточек совсем темный, бегают мыши, и потом самый больший стыд — стоять за печкой. Туда ставят только безнадежных дураков.

— Я, Глафира Ивановна, не портил.

— Он не портил, — повторяют за мной хлопцы. — он только целился ради практики.

Но ей, очевидно, такая «практика» совсем не нравится. Сдается мне, что это еще больше рассердило ее, она стала даже задыхаться.

— За печку, тебе говорят! Или ты оглох? За печку!

— Мне, — говорю, — не трудно. Я стану и за печку и куда хотите. Но только ведь несправедливо.

И я втиснулся в этот проклятый закуточек. Он сдавил мраком мою душу. Глафира Ивановна подбежала к печке и толкнула меня в плечо.

— Лезь, сороконожка отвратительная, лезь! А там посмотрим...

С этим и я согласился, мы посмотрим. Но кому от этого будет хуже, это мы еще увидим. Собственно, у меня не было никаких планов, но внутри поднималась буря протеста против несправедливости.

Я простоял за печкой до вечера. Ребята решали задачи на все действия, но решить никто не мог. Линейка так и свистела в воздухе. Ладони распухли, налились кровью. Тогда я впервые подумал, как хорошо иногда бывает убежать от жизни, спрятаться от ее бурной действительности хотя бы на лежанке или за печкой. Стой себе или присядь для удобства. А вокруг тебя мрак и даже паутина. И на душе такое мирное настроение, что плевал бы я на все на свете.

Но я страдал за коллективизм. Меня начала мучить совесть: почему я не страдаю вместе с ними?

Я поднял руку, вытянув ее из закуточка.

— Глафира Ивановна, вот я знаю, вот я...

Я рисковал ради товарищей, потому что решить задачу я тоже не мог бы. Но она даже головы не повернула в ту сторону, откуда раздавался мой голос.

Я вышел из этой тюрьмы, когда на дворе уже стало темнеть, а в закутке стоял уже густой мрак. В классе никого не было.

— П-шол! — сказала мне Глафира.

И я вышел.

На первый раз я мог очень легко объяснить домашним причину своего опоздания. Я сказал, что учительница оставила меня помогать ей складывать книги.

— Видишь, как она тебе доверяет, — сказали отец. — Смотри же, веди себя почтительно.

— Будто я не веду себя почтительно! Другого же не оставила, а меня.

Утром на следующий день снова то же самое...

— На место! — говорит она и показывает пальцем за печку, будто другого места для меня никогда и не было.

— Глафира Ивановна...

— Молчать! За печку!

Одним словом, что и говорить, положение мое было не из блестящих.

И вот совсем неожиданно меня спасает такой случай. По правде, я только на случай и надеялся. Однако я не мог предположить, что это будут отец Александр. На счастье, они поругались с Глафирой! И это меня спасло, но потом причинило много хлопот моему спасителю, самому отцу Александру.

Случилось это так.

Во время большой перемены, когда ребята, наверное, играли в пуговки, а я один за всех должен был терпеть издевательства, вдруг зазвенел батюшкин колокольчик. Почему? Закон божий был вчера, почему же батюшка опять приехали? Мне стало так весело, будто я не в тюрьме сижу, а сам где-то еду на батюшкиной бричке. Я выглянул в окошко. Кучер снимал постромки. Значит, собираются стоять долго. Отец

Александр поправляют на груди крест и идут в класс. Так и есть.

Перемена закончилась. Все на местах. И что ж мы видим? Глафира Ивановна хочет пройти в дверь, в одной руке у нее журнал, а в другой на маленьком блюдечке варенье из абрикосов. Но отец Александр по сравнению с ней были великаном. Они появились в дверях первым, и уже Глафире некуда было протиснуться, только рука ее с блюдцем торчала в двери.

— Вы меня задушите, отец Александр, — слышим ее голос. — Куда вы прете? Ведь сейчас мой урок географии?

— Кушайте свои абрикосы в комнате, — отвечают ей отец Александр, — потому что вы ошибаетесь.

— Нет уж, извините, вы ошибаетесь. Закон божий был вчера.

— А я вам говорю: закон божий такой предмет, что полезно и сегодня повторить. Можете убрать свое блюдце, я об него рясу пачкаю.

Они просунули локти немного вперед и прошли в класс.

— Садитесь, дети!

«Хорошая триектория», — подумал я и высунул из закутка голову. Глафира заметила мое движение.

— Куда? — крикнула она, стоя в двери. — На место! Не смей показывать башку!

Я спрятался. Но мой расчет был точным, он вполне себя оправдал. Отец Александр с интересом просунули руку за печку, нащупали мою голову, схватили за волосы и вытащили меня оттуда.

— А сие что означает? Ты почему в пещере, отрок мой?

— Оставьте его... Я здесь заведующая! Я!

— Почему ты в пещере, я спрашиваю? Отвечай смело, разве ты боишься своего пастыря? — вторично обратились ко мне отец Александр.

На Глафиру они даже не посмотрели. Я понял, что бояться «своего пастыря» в эту минуту мог только дурак.

— Нет, ваше благословение, я не боюсь, только ведь я наказанный.

— За какой грех? — спросили отец Александр, нахмурив брови.

Все в классе затаили дыхание. Отец Александр ждали ответа, ласково держа меня за руку. Я не хотел признаваться, не хотел позорить своим поступком учительницу, но здорово хотел избавиться от своей кары. И поэтому я ответил так:

— Большой шалун, ваше благословение, и всегда чем-то да заработаю...

Это было сказано прекрасно. Но вдруг поднялся Кириченко-первый и бесстыдно заявил:

— Ваше благословение, он врет. Потому что он в ванну Глафиры Ивановны совершил мокрое святотатствие...

Парты вздрогнули.

— Ах!.. — послышалось за дверью. Зазвенело блюдечко с вареньем.

Глафира Ивановна ахнула и бросилась к себе в комнату, стукнув дверью так, как только могла стукнуть здоровая женщина. А отец Александр так захохотали, что глобус на столе даже завертелся, будто его кто-то тронул.

— Свят... Ха-ха-ха-ха!! В ванну?! Ха-ха-ха-ха!! Ох-х-ха-ха-ха!!

В этот момент дверь из комнаты учительницы снова открылась. Глафира Ивановна не выдержала. Дрожа всем телом, она ворвалась в класс и закричала:

— Так знай же ты, сахалинщик будущий: я исключаю тебя!

— О-о-о! — пробасили отец Александр. — За что же вы его исключаете?

Но теперь уже Глафира Ивановна не хотела разговаривать с батюшкой и обращалась исключительно ко мне:

— Вон! Или я вызову господина урядника...

Дело неожиданно для меня обернулось совсем плохо. Об уряднике она еще никогда не вспоминала. Это впервые, потому что она поссорилась с отцом Александром. Она блеснула на него своими глазами

так, что я подумал: «Значит урядник старше батюшки».

И вдруг отец Александр возвращают мне жизнь. Это был для меня день неожиданностей. Они снова берут меня за руку и, ехидно улыбаясь, говорят учительнице:

— Спрячьте своего урядника себе под юбку, а мальчика я беру к себе. Мы еще посмотрим. Ступай, отрок Гавриил, на козлы.

Я не знаю... Я так любил приключения, что не дожидался, пока батюшка попросит меня вторично. Пулей я вылетел из класса. Сел на бричку рядом с кучером и сказал:

— Запрягайте. Закона божьего не будет, их благословение не в состоянии сейчас вести урок.

Кучер заморгал глазами.

— Ты, — говорит, — не сбесился, мальчонка?

— Нет, дядя Кузьма, такая триектория получается! Дайте окурок, потому что я теперь буду за отрока при их благословении. Так что теперь для меня и в алтарь зайти плевое дело.

Эта мысль неожиданно для меня самого наполнила мое сердце счастьем. Я добавил:

— Подать кадильницу... хотя бы разжечь и покачать ее, пока их благословение будут готовы, — это вы как думаете?.. А то стой за печкой, слушайся ее... Довольно! Запрягайте, дядя Кузьма!

И он начал запрягать лошадей.

— Ну, — говорит, — из тебя, сукиного сына, выйдет псаломщик. У нас в музыкантской команде тоже такой байстрюк был, любого офицера обделает.

— Что же вы сравниваете? То байстрюк, а то, — говорю, — отрок.

— Да уж не знаю, отрок ты или не отрок, а что сорванец, так вижу. Н-ну, ты, попадья, ножку! — крикнул он на коренную, толстозадую лошадь.

Вышли отец Александр. Я же знал, что закона божьего сегодня не будет.

Кузьма подобрал вожжи.

— Домой, батюшка?

— Домой. Я ей покажу, мать пресвятая богоро-

дица, если она еще не видела... Погоняй, обалдуй, чего стоишь?

И мы втроем — я, их благословение отец Александр и кучер — с места взяли рысью, так что даже пыль столбом стояла позади.

Письмо

Теперь я думаю так: человек растет, взгляды его меняются, потому что «все течет», как сказал Гераклит. Человек вырастает, обучается и берет новую траекторию. От бывших кадильниц не остается даже ржавой цепочки... И теперь, когда ко мне приходит юный пионер и жалуется на боль в животе, я только вспоминаю свой живот в прошлом: тогда он тоже болел, зато какой он спокойный нынче. Если пионер приходит с матерью, так она, получив от нас рецепт на касторку, скажет ему:

— Выпьешь, Федя, это лекарство, и, даст бог, пройдет.

И пионер отвечает:

— Мама, ты опять? Сколько тебе говорил: нет бога! А понос живота от бактерий.

Вам ясно, что мы с пионером абсолютно одного мнения. Он также это чувствует. Дружески улыбаясь вам и мне, он, словно защищаясь, поднимает руку и говорит:

— Будьте готовы!

— Всегда готов! — отвечаю я.

Да, все течет, это безусловная истина. Но тогда, когда я ехал на козлах с бывалым кучером и чувствовал за своей спиной их благословение отца Александра, я переживал совершенно иные чувства и горячо восхвалял господа бога.

Я был религиозным человеком. Вспоминаю, однажды отца настигло половодье. Я смотрел в окошко и горячо молился о том, чтобы Николай-чудотворец спас отца от гибели в холодной воде. Потом я влез на стол, снял со стены образ спасителя и, заливаясь слезами, сказал ему:

— Спасителю Иисусе Христе! Если только наш тятя

утонут, я тебе очи повыдираю. А если спасешь, стащу в церкви свечу от другой иконы и поставлю тебе.

Отец спаслись. Свечи я, кажется, не поставил, но верил и искренне благодарил, до боли в груди. Такой я был религиозный. Как бы я там ни сбивался на уроках закона божия, как бы плохо я ни знал «пир во Капернауме», но бог живой, «вездесущий» был у меня внутри, и я поклонялся ему «втайне», искренне и с вдохновением.

Поэтому и не удивительно, что он освободил меня от напасти учительницы, как отрока Анания из страшного рва, и посадил меня на высокие козла батюшкиной брички. В этом я был тогда глубоко убежден. И с такими мыслями я въехал на подворье отца Александра.

Здесь меня ждала новая, совсем незнакомая жизнь.

Я соскочил на землю и стал осматривать церковный дом. Это был хороший дом. Здесь можно было неплохо жить. Высокий забор защищал от завистливых человеческих глаз большое подворье, полное разной птицы, поросят, кабанов, свиней и тому подобного. Откормленные, тяжелые гуси встретили меня враждебным, задиристым криком. В конюшне вовсю ржали два жеребенка, на которых уже покрикивал Кузьма. В подворье пахло жареным луком, яблоками, молоком, мясом, коровой. Словом, тут можно было жить. Я еще никогда и нигде не чувствовал, чтобы так вкусно пахло, как здесь. Нигде я не видал и такой свиньи, какая была у их благословения! Это не свинья — целый сундук на толстых ножках. Следом за ней двигалась ватага поросят, я насчитал тринадцать штук, что ли. Потом я посмотрел на дом и на крылечке увидел матушку. Спокойные и, наверное, уставшие от забот по хозяйству, они стояли, сложив руки на животе, и смотрели на кур, среди которых разорялся чернохвостый беспокойный петух.

Отец Александр сказали что-то матушке — наверное, обо мне — пошли в комнату. Матушка перевели на меня глаза, позвали к крыльцу и, осмотрев меня с ног до головы, спросили:

— Как звать?

— Отрок Гавриил, а в школе был Кириченко Гавриил-второй, — ответил я.

Они улыбнулись.

— Достаточно с тебя и одного Гавриила.

Отрок, значит, исчез, остался просто Гаврила. Что ж, я не мог спорить с матушкой: неудобно, если видишь человека впервые в жизни. Я промолчал, а они спрашивают дальше:

— Куришь?

— Не занимаюсь этим. Грех...

— Хорошо. После обеда будешь набивать мне папиросы.

На это я согласился с тайной радостью:

— А чего же? Буду набивать.

— А теперь поймай вон того гуся, вон, видишь? И неси его сюда.

— Вот того, с рябой шеей? Сейчас...

Я вмиг нагнал гуся, закрыл ему рукой клюв и, словно выполняя привычную работу, спокойно спросил у матушки:

— Куда его? На кухню?

— Отдай Меланье. Пускай зарежет.

Так начался первый день моей новой жизни.

Первое, о чем я задумался на следующее утро, — о своем будущем. «Ну, хорошо, — подумал я, — ты сейчас отрок, ты неожиданно добился славы и ловишь гусей на батюшкином подворье. А потом? Как ты себе представляешь, до чего можешь дойти, если и дальше так пойдешь?»

Ну, до чего? Думать, конечно, можно было обо всем. Взять, например, архиерея — разве о нем нельзя было подумать? Или о ком-нибудь другом? Можно. Но как я ни пытался представить себя на месте архиерея, ничего путного не получалось. Тогда я подумал о благочинном, потом об обычном священнике, наконец — о дьяконе... Нет, я как только представлю себя с косой, хохочу до слез. Посторонним я бы не разрешил издеваться над священником, но посмеяться над самим собой не грех. И я хохотал, воображая, что у меня от-

росли волосы, косы и что вместо штанов я надел рясу. Почему? Я, видите ли, был убежден, что священники не носят штанов. На что они ему? Чтоб служить господу богу, штаны не нужны. Для этого есть ризы.

«Однако как бы там ни было, — думал я дальше, — а из школы Глафира Ивановна тебя вытурила и не собирается, как видно, принимать до тех пор, пока ты находишься под покровительством батюшки. Что там у них произошло с Глафирой, никому не известно, но твоя судьба отныне так или иначе связана с батюшкиной».

Кроме того, впереди было столько незнакомого и интересного здесь, в доме батюшки, что я дрожал от нетерпения, и о чем-то другом думать я просто не мог.

А главное — дух покорности ласковому господу, который склонил ко мне свое лицо, вселился в меня, и жажда подвига зажглась во мне непобедимым пламенем.

Утром часов в десять отец Александр вышли во двор, свежий и сильный, с лицом ясным, как у настоящего архангела. Новый подрясник из черного шелка чудесными волнами ходил на их мускулах, а из низенького расстегнутого воротника выплывала розовая, гладкая шея, на которой сидела кудрявая голова неописуемой красоты. Отец Александр улыбались и поглаживали свою нежную золотистую бородку, которой они напоминали мне самого Иисуса Христа.

Сердце у меня затрепетало. Я поклонился им. Подошел под их благословение. Отец Александр весело перекрестили надо мной воздух и сказали: «Да благословит господь бог». Я припал к их руке. Горячие губы почувствовали незабываемый бархат кожи священника, и душе моей, утомленной тревогами последних дней, стало так спокойно и уютно.

«Господи, господи. . .» — подумал я, но не посмел спросить его: а что же будет дальше?

В эту минуту первая оса разочарования влетела мне в сердце. Отец Александр величественным жестом отбросили полу своего подрясника. И что же я увидел на них? Длинные полосатые коричневые штаны. Я почувствовал, что мои глаза расширяются.

А отец Александр тем временем вытащили из кармана портсигар, взяли из него папиросу и, глядя через мою голову куда-то вдаль, задумчиво постучали ею по металлической крышке. Потом едва слышно, с неуловимой тоской запели:

Де-ех, тр-ри д-деревни, два села,
Восемь девок, один я,
Да ку-у-у-да дев-ки, да ту-у-да и я.

Я остолбенел. Ароматный дым от батюшкиной папиросы окутывал мою голову сладким предчувствием чего-то неясного, неизбежного. . .

— Ваше благословение, — промолвил я, — приставьте меня к какой-нибудь работе, чтобы у меня душа не тревожилась.

Я помню, что сказал именно так: «чтобы у меня душа не тревожилась», — потому что я чувствовал, что эти штаны, папироса и «восемь девок» никак не могут вместиться в моей голове. Мне казалось, что образ Иисуса Христа вылез из штанов и стал в стороне.

Отец Александр неожиданно перевели на меня свой пристальный взгляд.

— Вот тебе задача: поезжай к благочинному. Вот письмо. А если увидишь матушку. . .

Когда они мне это говорили, из сеней вышли на крыльцо матушка и равнодушно посмотрели на нас. Я поклонился им, но ничего не сказал. Почему-то мне казалось, что не эту матушку, а благочинную я должен был увидеть.

— А, Гаврюшка! — промолвила она и быстро прошла к сараю, стоявшему в конце подворья.

Когда матушка отошли, я спросил:

— А если увижу матушку?. .

Отец Александр положили руку на мою голову.

— Если увидишь, вот письмо, — и передал мне второе письмо. — В собственные руки, слышишь?

— А впоследствии?

— Возвращайся. Завтра суббота. Ты можешь взойти с Григорием на колокольню и с ним благовестить к вечерне.

О, батюшка прекрасно знал, какой это подарок для меня! Я буду на колокольне! Господи! На коло-

кольне! Там же столько воробьиных гнезд! А яичек! И никто их не берет, потому что кто может взобраться под самый шпиль колокольни?.. Боже, завтра я буду там!

Я прижал письма к горячему телу. В моих штанах вместо кармана была дыра, и поэтому письма я держал за пазухой.

Разыскав Кузьму, я показал ему конверт, на котором стояло: «Его высокопреподобию отцу Алексию Яворскому».

Кузьма повертел в руках конверт, посмотрел, сплюнул.

— Это же, к примеру, куда?

— К благочинному, — сказал я сурово. — Запрягайте. Сейчас же еду.

На втором конверте я только успел схватить одно слово: «Высокочтимой...»

Этого письма я даже не показал Кузьме. Все равно он не умеет читать. Через минуту Кузьма скомандовал:

— Ну, что же ты, далай-идол, крутишь, чтоб тебя крутило...

— Дядя Кузьма, что значит далай-идол? — спросил я, глубоко пораженный этим словом.

— Да вот эта толстозадая. Брыкается, стерва!

Он ударил коренную кнутом и резко повернул бричку.

— Да вроде благочинную так зовут. А я уж называю лошадь. Лишь бы веселее... Садись.

Я сел, вытащил второй конверт и прочитал: «Высокочтимой Аделаиде Варфоломеевне в собственные руки».

Нахохотавшись вдоволь над шуткой Кузьмы, я откинулся на задок брички и крикнул:

— Пиррьод!

Мне нетрудно было выполнить это поручение. Когда я приехал к благочинному, то первой увидел матушку Аделаиду, чернявую такую да спокойную, с глазами как у Марии Магдалины. Они подошли к бричке и спросили:

— Ты к нам?

А я в свою очередь спросил:

— А вы, может, матушка будете?

— Да. А что? Я матушка.

— Вот письмо.

И не успел я вытащить письмо, как они блеснули улыбкой, да такой красивой, что даже мне стало весело. Ни у кого мне не приходилось видеть такой улыбки. Губы розовые, нежные, а зубы словно снег при свете солнца. Они взяли письмо и в тот же миг куда-то засунули его, так что я даже и не заметил. Знаю, что карманов у них не было.

— Поросенок, получишь пятнадцать копеек, — только и успела она сказать.

Однако ничего не дала. Вышли благочинный, и они обратились к нему: «К тебе от отца Александра», — а сами скрылись в доме.

С благочинным мы разговаривали недолго. Они при мне перечитали письмо, помурлыкали-помурлыкали, и сказали, что приедут. Так и велели передать: «Мг... мг... хорошо, приедем». Покусали бородку и снова замурлыкали: хорошо, мол.

Я возвращался домой, переполненный мыслями. Какая-то то ли тревога, то ли тоска шевелилась у меня под сердцем. «Как это так? — думал я. — Почему два разных письма — отдельно благочинному, отдельно матушке? Она же, можно сказать, тоже благочинная. И почему это одна матушка не должна знать о том, что знает вторая матушка, а благочинный вообще ничего не должен знать?» Да разве мне дано было разгадать тайну священника, порученную ему богом? Я не мог ее разгадать: ведь всего только два дня, как я стал отроком. И поэтому все мои поступки исходили от чистого сердца и от той глубокой веры в отца Александра и господа бога, веры, которая кипела в моей груди.

Но хотя я и шел на ощупь, как тот слепой, однако не оступался.

Когда я въехал на свое подворье, меня встретили отец Александр и матушка. Не ожидая их вопросов, я сообщил:

— Их высокопреподобие отец Алексий сказали, что

приедут во что бы то ни стало. Как перечитали письмо, так и сказали. — И вдруг добавил: — А матушка их передавали вам, матушка, низкий поклон.

Не знаю, как это у меня сорвалось. Может быть, я подумал, что следовало-таки передать поклон. Может, потому, что мне показалось, будто матушка хотят что-то спросить у меня.

По лицу отца Александра я понял, что говорю именно так, как нужно. Они обратились к матушке, которые вопросительно смотрели на них:

— Я попросил отца Алексия приехать к нам на престольный праздник.

— А, — сказали матушка, — ты поступил умно. Гаврюшка, можешь идти обедать. Иди к Меланье.

В тот день я ел свой кусок хлеба, гордый сознанием того, что заработал этот кусок службой их благословению, а через них — и господу богу.

Меланья трижды добавляла мне что-то в миску.

Колокольня

И вот пришла суббота. Я ждал ее недаром, ибо в этот день я получил самую высшую награду: вместе с Григорием Долгополовым, старым церковным сторожем, я полез на колокольню.

Вряд ли можно передать словами те необычайные чувства, которые возникают у вас, когда вы впервые в своей жизни поднимаетесь на колокольню. Вы идете по темным, кривым ступенькам. Они скрипят под вашими ногами. Из темных уголков выглядывают рукоятки старых хоругвей, клочки старинного бархата, свисая в темноте, касаются вашего лица. Иногда вы попадаете головой в густую ткань паутины. Тогда от этих нежных прикосновений, которые проникают вам прямо в сердце, мороз пробегает. Вы хватаетесь за полу Григория.

— Чего ты, дурашка? Не бойся, — скажет он, — тут же нет мертвецов.

Наконец последний раз вы поднимаете ногу. Ваша голова высовывается из квадратной дыры — вы попадаете в царство колоколов, которые встречают вас

страшной глубиной своих глоток. Раздутыми языками свисают их неподвижные железные болванки. Невольно у вас поднимаются плечи, будто какая-то неведомая сила втягивает вас в середину колокола. Вам хочется подскочить, взяться руками за канат, привязанный к языку, упереться пяткой и забраться на огромный колокол, а оттуда — вверх и вверх! — к воробьиным гнездам. Прекрасное, высокое желание! Но вы должны уметь очень хорошо лазить, цепляясь пальцами за дощатую обшивку колокольни. Иногда жесть, которой покрыта церковь, так плотно прилегает к доске, что некуда засунуть пальцы. Тогда надежда на бога и на вашу смекалку. Вообще, если вы раньше не развивали свои мускулы, взбираясь на деревья или качаясь на поперечных брусьях овина, так на колокольне вам ни за что не удастся разорить и одного худого гнездышка.

Григорий перекрестился и заложил ногу в кольцо от языка большого колокола. А я тем временем двумя короткими, энергичными движениями сбросил свои сапоги. И не успел Григорий перекреститься вторично, как я уже был на брусьях, на которых висели колокола. Григорий поднял голову и крикнул:

— Куда?

Ветер развевал полы его замазанного маслом пиджака, теребил рыжую, с проседью бороду, от которой здорово пахло табаком, смешанным с миром. Я очень уважал деда Григория за его бороду. Часто на ней появлялись желтые кругленькие точки — он иногда тыкал себе в бороду свечой, погашенной за минуту перед этим. С нее еще стекала горячая слеза желтого воска. Позже, когда я узнал его получше, я понял, что он делает это не нарочито, потому что всегда в таких случаях говорил, поглаживая обожженный подбородок: «Ух, ты ж... курья голова...» Теперь он размахивал руками и также кричал мне:

— Слезь! Ах ты ж... Слезь, говорю тебе, курья голова!

Я засмеялся.

— Бейте в колокол, чего там!

— Да я ударю, когда мне нужно будет, а ты слезай. Вишь, куда забрался! Куда это?

— Да никуда. Бейте.

— Ах ты ж! ..

Он даже не окончил и, перекрестившись вторично, дернул ногой за язык большого колокола.

Могучее «бо-о-ом» разнеслось вокруг меня и заполнило мои уши тяжелым металлом. Мне стало не по себе. Мышцы на ногах задрожали, будто там играла музыка. Я с вдохновением схватился пальцами за первую перекладину, посмотрел на мир, который раскинулся где-то за деревьями, и полез под самый шпиль колокольни. Мне казалось, что величественные звуки меди держат меня на своих волнах, а рядом со мной летают невидимые херувимы.

Вот здесь-то я и набрал полную пазуху воробьиных и галочьих яиц.

Когда Григорий ударил во все колокола, я слез и, став рядом с ним, посмотрел вниз. Разношерстная толпа людей плыла в церковь с трех сторон. Перед оградой мужчины снимали шапки и крестились, помахивая в воздухе бородами. Мне стало почему-то так смешно. Я увидел отца Александра. Они подходили к ризнице, поглядывая на людей, которые размахивали бородами, толпились, кланялись и приглаживали свои волосы тяжелыми черными руками. Я заметил — отец Александр улыбнулись сами себе и исчезли в ризнице.

«Почему это они улыбнулись, глядя на людей?» — подумал я.

Вдруг возле дверей притвора я заметил Глафиру. От неожиданности я забыл обо всем и радостно крикнул ей:

— Глафира Ивановна, здравствуйте!

Она оглянулась вокруг, потом подняла голову и посмотрела на колокольню.

— Глафира Ивановна! — сказал я снова и перегнулся через перила.

Мне показалось, что она едва заметно улыбнулась. Но в тот же момент что-то ударило ее по голове — раз, второй, третий. . . Она закричала и закрыла голову руками.

Я отскочил от окна. Проклятые яйца! Они высыпались у меня из-за пазухи прямо на голову Глафиры.

Это были последние капли, которые переполнили чашу ее терпения. Теперь мне и думать нечего было о школе... Отрезано! Да разве я хотел, чтобы так случилось? Это происшествие снилось мне всю ночь...

Причастие

Уважаемый читатель! Ты не раз испытывал тяжелые колебания. Не раз, наверное, перед тобой стояла сложная альтернатива. И ты не знал: идти дальше или возвратиться назад? Нигде и никто не мог тебе посоветовать, ибо кто может понять твою душу, если ты сам ее не понимаешь! Вот тебе кажется, что нужно только остановиться, подумать и пойти назад — и все будет спасено: честь, и покой, и вся твоя дальнейшая жизнь. Она уже вырисовывается перед тобой и зовет, тянет к себе, обещая тихое и спокойное счастье. Лишь только сожги корабли, чтобы не тянуло тебя отплыть на них в неизвестное, когда ветер надует их паруса. Сожги! Вернись!.. Ты уже готов сделать это. Страстный жертвенный огонь уже охватывает твое сердце. Но в эту минуту ты вдруг чувствуешь, что грудь твою пронизывает нестерпимая боль. Тогда тебе становится жаль того неизвестного, что где-то там, на том нехоженом пути. О, это искушение — твоя погибель! Ты не хочешь поднять щит, и ядовитая стрела любопытства ранит доброго Ормузда, который уже готов разлить над тобой свою благодать. Теперь ты не повернешь назад!.. Терзайся теперь за свою недальновидность ты, неспокойный человек! Плыви на своих неблагонадежных кораблях!..

Так вот и мой Кириченко. Вместо того чтобы подумать над тем, что он сделал, вместо того чтобы возвратиться к Глафире, попросить у нее прощения, трудом и послушанием привлечь к себе ее сердце, он на все махнул рукой. «Alea jacta est [1]», — сказал, как известно, в подобном случае Цезарь. Кириченко же

[1] Жребий брошен.

сказал просто: «Черт его дери! Отец будут бить, да уж не привыкать к этому». И он перешагнул Рубикон.

Я решил остаться в отроках. О, я знал, что это значит! Я знал, что теперь мне нельзя даже показаться отцу на глаза. Они почему-то не любили священников. Был этот грех в нашей семье. Мама то ли замаливали его грехи, то ли оплакивали их своими слезами — одному богу известно. Но отец — ни в церковь, ни говеть, хоть убей. Однажды пошли-таки говеть, но перед причастием выпили у Максимца что-то около кварты. Батюшка не захотели его причащать — наверное, почуяли винный дух. Так они тогда снова пошли к Максимцу и возвратились домой только через три дня. В тот раз они и пальтишко достали...

— Вот это, —говорит он матери, — причастился. Хватит с меня надолго.

Об этом я вспомнил в воскресенье утром. Вышел я во двор, постоял немного, и вдруг меня охватили сомнения. Сколько же это прошло дней, как я не был дома? Наверное, отец уже обо всем знают. И чем дольше я буду в отроках, тем сильнее мне достанется. И вот как раз в эту минуту раздумья меня позвали отец Александр.

— Гавриил, — сказал он, — сегодня ты будешь прислуживать мне во время обедни. Присматривайся к делу и подмечай, как идет служба.

Мог бы ты, любезный читатель, отказаться от такого предложения? Не знаю... А я не мог. Это новое развлечение решило все. Вы только представьте себе, какая перспектива! А они еще и говорят «подмечай»... Кому это они говорят? Да я не пропущу ни одного их движения, ни одно слово богослужения не пролетит мимо моих ушей. Я буду в ризнице! Буду в алтаре! Возле самого отца Александра! Там будет и дедушка Григорий. Он всегда подает кадильницу священнику и переставляет свечи перед царскими вратами. Дорогой дедушка! Недолго тебе осталось царствовать... Скоро добьюсь я своего. И я снова подумал: «Господи, господи...»

А коли так, то в алтарь нужно войти в чистой одежде. Надо надеть свежую сорочку, потому что эта

черная, изрядно износилась еще в школе, а когда я лазил разорять гнезда, то еще и разорвал ее.

— Посоветуйте мне, Меланья, что делать, — обратился я к Меланье.

Эта глупая девушка всегда смеялась.

— Ги-ги. . .

— Этого мало. А где мне взять белую сорочку?

— Сходи домой, — говорит, — хи-хи-хи!

— Домой? Я же говорю, что глупая. Если б мне можно было пойти домой! Весь секрет, где на месте взять.

Я прекрасно понимал, что для отца будет недостаточно того, что я поймал для матушки гуся и высыпал на Глафиру воробьиные яйца. Отец спросят с меня больше. И вообще нельзя мне являться домой до тех пор, пока я не дослужусь до какого-нибудь высшего чина, потому что им тогда неудобно будет попотчевать меня чем-нибудь тяжелым.

— Меланья! — крикнул я вдруг. — Сорочка белая есть! Она на мне!

И в самом деле на мне было две сорочки: одна — сверху, черная и рваная, а вторая — поднизом, чище и целая. Я быстро надел нижнюю наверх, а черную вниз и с чистой совестью пошел в церковь.

Нечего уже и говорить, как забилось у меня сердце, когда я вошел в ризницу: я сразу увидел там на какой-то жаровне огромное количество огарков от свеч. И тотчас у меня появилась, просто блеснула, как солнце, мысль: «Нужно набрать огарков для тягала на пауков». Знаете тягало? Берете кусочек воска и начинаете его мять. Мнете долго, до тех пор, пока воск от ваших пальцев из желтого не станет совсем черным. Пусть он будет мягким, подышите на него, снова помните, а потом сделайте этот кусочек кругленьким или немного продолговатым, как яичко. Но перед этим не забудьте в середину кусочка вложить конец нитки. Вот вам и тягало. Нитка должна быть длиной в аршин. Тогда вы идете на выгон, где всегда найдете норы пауков, опускаете ваше тягало на ниточке в какую-нибудь из нор и начинаете дразнить паука: то поднимете, то опустите тягало. Минуты через

две паук рассвирепеет: вы почувствуете, что ваше тягало стало тяжелее. Значит, паук впился своими клешнями в воск. Выдерните тягало из норы — и перед вами паук, большой, страшный, бывает даже с крестом на спине. А там уж делайте с ним что хотите. Если у вас есть коробочка, можете посадить его туда и принести в класс...

Вся эта увлекательная картина возникла передо мной в одно мгновение. Я подумал снова: «Здесь хватит всем ребятам, даже по двадцать тягал на каждого...» А когда дедушка Григорий стал раздувать в казанке уголь, я тем временем засунул пригоршню огарков за пазуху...

Потом я обвел глазами всю ризницу и заглянул сквозь раскрытую дверь в алтарь. Какая красота! Я даже замер. Когда мы говели, я видел только часть алтаря сквозь царские врата, что стоят посередине. Видел престол, а на нем какой-то стеклянный домик. Он был красивый, но ведь что ж, это издалека... А тут все перед глазами. И престол, и жертвенник, и все. Пол был устлан ковриками, на окнах вышитые полотенца, в окнах зеленое и желтое стекло. Понятно, святое место. Одно евангелие, которое лежит на престоле, наверное, и за лошадь не купить. Ведь оно золотое или позолоченное! А лошадь что! Сдохнет — и нет ее... Словом, было чему удивляться. Другой, может быть, так и стоял бы с раскрытым ртом, а я должен владеть собой и присматриваться, как велели мне отец Александр.

Они стояли у алтаря, возле жертвенника.

— А что это батюшка делают? — спросил я у Григория.

— Да что же! Совершают проскомидию.

Из двери ризницы видно все как на ладони. Я следил за каждым движением, за каждым словом, самым тихим; я угадывал его по тому, как складывались губы у их благословения. Покой вселился в мою душу. Я обмакнул пальцы в лампадку, которая горела в ризнице, и помазал себе волосы. Стою и молюсь, молюсь своими словами.

На жертвеннике заблестела чаша, потом ножик и

еще какие-то два кружочка — крест-накрест. Отец Александр вытерли чашку желтым полотенцем, внимательно осмотрели несколько просфор — слева их лежала целая куча — и что-то тихо, почти беззвучно, запели, задумались. Глядели они куда-то вдаль, через зеленые стекла решетчатого окна. Я не знаю, может, я ошибся, но мне послышалось знакомое уже:

Три деревни...

Я вздрогнул, напряг свой слух до боли, чуть глаза не выскочили. «Замечаю». Но до моего слуха долетело еще только два слова:

...два села...

Отец Александр тихо вздохнули, глаза у них затуманились. Вдруг они обернулись к ризнице и заметили меня. Они подмигнули мне, я стал молиться еще усерднее. После этого отец Александр взяли просфору в левую руку, а ножик в правую, трижды перекрестили ножиком просфору поверх печатки и сказали:

— В воспоминание господа бога и спасителя Иисуса Христа.

Произнесли они это трижды. И тут же надрезали ножиком просфору с правой стороны печатки, говоря при этом: «яко овча на заклание ведеся». Потом накололи с левой стороны и сказали: «И яко агнец непорочен...» А дальше что-то о стерегущем: «...его безгласен, тако не отверзает уст своих». Я, не отрывая глаз, следил за отцом Александром. Их слова давили меня своей непонятностью. Чтобы лучше слышать батюшку, я вошел в алтарь и остановился за южной дверью. Они, как волшебник, третий раз взмахнули ножиком и ударили им просфору сверху печатки.

— «Во смирении его суд его», — сказали они сердито в этот раз.

И вдруг слова их оборвались. Я увидел, что их ножик провалился в глубь просфоры — она была пустая... Наверное, просвирня неудачно замесила тесто или что другое, только отец Александр не могли вытащить из просфоры ягненка.

— Старая калоша! — промолвили они, отбросив просфору в сторону.

А я как услыхал о калоше, так и молиться перестал. Смотрю: что ж теперь будет? Батюшка взяли вторую просфору и едва надавили на нее ножиком и промолвили «яко овча», как просфора снова осела. Отец Александр задержали руку и побледнели от гнева.

— Стерва, просфоры испечь не умеет... — услыхал я сдержанную, но очень ясную фразу.

У меня задрожали коленки, будто злой дух вселился в меня и хотел захохотать, а я не разрешаю ему. «Погоди ж, думаю, это тебе не в пуговки играть, а проскомидия!»

Отец Александр взяли третью просфору и, вы не поверите, снова не могли вырезать из нее агнца! Тогда они произнесли такие слова, что я отвернулся, и вышел из алтаря в ризницу.

«Господи, — подумал я в третий раз, — как же это так?» Эти же самые слова я слыхал летом от нашего пастуха, когда он оправдывался перед одним крестьянином за ягненка и «благословил» его такими словами, что я даже теперь не могу их повторить.

Не знаю я уже, как продолжали отец Александр совершать «проскомидию». Я стоял в ризнице, и моя голова разрывалась от страшных дум. Дедушка Григорий велел мне раздувать кадильницу... Однако даже это не могло вернуть мне хорошее настроение. Что-то будто оборвалось у меня внутри. Хотелось плакать или совершить что-нибудь геройское. Ну, плакать не очень-то хотелось, а вот сделать... Только что? Как на грех, ничего не мог придумать! А тут я чувствую, будто моя вера заколебалась, и точно сквозь туман вижу — на плечах отца Александра вдруг вырастает голова Глафиры Ивановны. Потом я вспомнил ванну, Фому, Кириченко-первого, товарищей и всю свою прошлую жизнь... И захотелось мне покаяться, бить поклоны перед огромной иконой. И вдруг я почувствовал, что ни каяться, ни бить поклоны я уже не могу. Наоборот, мне опять хочется

пойти в алтарь, — наверное, там их благословение еще какой-нибудь номер отколют.

В этот момент меня позвали в алтарь. Отец Александр заканчивали проскомидию, сердито разбрасывая просфоры. Они уже закололи агнца, и теперь только оставалось налить вина из бутылки в чашу, чтобы приготовить святое причастие.

— «Един бо воин копием ребра его прободе: и абие изыде кровь и вода», — говорили они.

Но из бутылки ничего не текло — там не было ни капли вина.

— Гаврюшка! — окликнули меня отец Александр. — Дома в моем шкафчике стоит полбутылки вина. Принеси. На одной ноге, а то нечем причащать!

— Сичас.

Через минуту я уже возился в шкафу. Матушки не было в комнате, и я искал то вино сам. Стояли две бутылки, обе начатые. Только в одной было вино, а в другой чернила. Я взял вторую. «Пейте от нея, вся сея есть кровь моя. . .» — припомнились мне эти слова. Я схватил бутылку — надо же было не разглядеть! — прибежал в алтарь и, откупорив ее еще по дороге, подал отцу Александру. Они налили из нее в чашу и помешали золотой ложечкой, чтобы частицы тела Христова наполнились кровью с водой. Сквозь дыру в штанах я щипал себя левой рукой за ногу, чтобы не сказать чего-нибудь батюшке. Но когда они, помешав, поднесли чашу к устам и во рту у них стало черно, как в бутылке, я не выдержал и закричал:

— Боже мой! Что я наделал!

— Что это за бурда? Тьфу!

— Ваше благословение, я, наверно, ошибся. . . наверно, это чернила. . .

Отец Александр страшно посинели. Они оглянулись вокруг: не заметил ли кто? К счастью, все три двери, которые вели из алтаря в церковь, были плотно закрыты, а царские врата еще затянуты занавесью и заперты на крючок. В ризнице дедушка Григорий о чем-то спорил со стариками, которые имели право заходить туда.

— Никто не видел, ваше благословение, — сказал я,

Тогда отец Александр вылили «кровь» из чаши в какой-то кувшин и поставили его внутрь жертвенника, а «ягненка» и другие частицы «тела» высыпали в платочек и положили в карман. Потом хотели позвать Григория. Но я угадал их намерение.

— Ваше благословение, — говорю, — отец Александр! Там есть вторая бутылка. Наверно, она как раз с вином... Я сейчас принесу. Я на одной ноге...

И, прежде чем отец Александр посмотрел на меня и собрались что-то сказать, я уже выбежал из алтаря.

Бежал я без шапки. Тяжелые, намазанные маслом волосы спадали мне на лоб. Я чувствовал важность минуты. Тут надо причащать людей — и вдруг такое горе! Поэтому я ни на кого не обращал внимания, торопясь спасти положение.

Через две минуты я уже выбежал из дома батюшки, сжимая в обеих руках завернутую в газету бутылку. И вот только я появился за воротами и бросился бежать через площадь к церкви, как слышу голос Ладьки:

— Кириченко! Кириченко!

Я стал столбом. Смотрю подходит Ладька, а с ним и Фома. У меня от радости даже дух захватило. Но встречаю я их так себе. Ведь кто они? Школяры! А я уже... ого-го!

— Ну, здорово. А что скажете?

Они смотрят на меня, будто отродясь не видали.

— Чего вы смотрите?

— А что, нельзя? Чем это ты волосы вымазал?

— Не ваше дело. Маслом из лампадки. Только мне некогда с вами стоять, нужно идти.

— Что ж ты делаешь?

Я поглядел на Фому — он даже язык высунул от любопытства. А Ладька — тот ведет себя так, будто ему все это ни к чему. Но я знаю, что он прикидывается, потому что ему тоже до зарезу хочется узнать.

— Да ничего, наверное, не делает, — говорит он, слегка отвернувшись в сторону.

— Ничего?

— А что же! Конечно, ничего.

— А причаститься не хочешь?

— Причаститься?!

Они посмотрели друг на друга.

— Как это причаститься?

— Да так, что некогда мне с вами разговаривать, причастие готовлю. Вот и вино, то есть кровь Христова.

— Да бре... Где же оно?

— И-и, еще и болтает! — с презрением отвечаю я. — А вот это не видишь?

Они стоят молча, потому — что ж им сказать? Я встряхиваю бутылку, и мы все трое слышим, как в ней булькает.

— Вино! — говорит Фома.

— Почем ты знаешь? — равнодушно спрашивает Ладька. — Может быть, вовсе и не вино?

— А что же? Ну, что, если не вино? Эх, ты... не вино! — раздраженно говорю я. — А что же тогда?

— Да кто его знает, что. Может, и вода.

— А, несчастные! Чего б там была вода?

— А что, разве нельзя туда налить воды?

Тут я уже ничего не могу сказать. Мне хочется треснуть этой бутылкой Ладьку по голове, но я боюсь, что бутылка разобьется. Обида закипает во мне горькой смолой.

— На, смотри, слепая тетеря! — И я разворачиваю бутылку. — Что? Не вино?

— Ей-бо, вино! — восклицает Фома.

А Ладька только посмотрел и отвернулся.

— Тоже мне счастье! Перенести из дома в церковь всякий дурак сможет. А вот попробовать... этого ж ты не можешь. А еще задаешься.

Вспылил тут я окончательно.

— Если бы, — говорю, — захотел, так все мог бы выпить!

— Ну, этого ты не говори, — отозвался и Фома. — Разве можно? Ты же не имеешь права.

— Кто? Я? Отрок не имеет права?

— А что, имеешь? — спрашивает Ладька. — Конечно, не имеешь. Я зря болтать не привык.

— Пойдем же, — говорю я чуть слышно.

— Куда? — спрашивают они оба, немного удивленные.

— Я уж знаю, куда. Пойдем в сарай. Вы идите в конец огорода, там перелезете через забор, а я буду ждать в воротах. Увидите, имею я право или нет.

Они молча бегут вдоль забора, а я уже поджидаю их в сарае, под бричкой. Руки у меня немного дрожат, но я зубами открываю пробку, и в лицо мне бьет незнакомый резкий запах вина. Хлопцы вбегают в сарай и лезут ко мне под бричку. Я поднимаю бутылку. Чувствую, что у меня горят глаза.

— Ну, пей же! — шепотом говорит Ладька. — Чего ж ты побледнел?

— Сейчас.

Я прикладываю губы к горлышку, забрасываю назад голову и начинаю пить. Выпил один небольшой глоток. Что-то горячее пробежало у меня в животе. Я испугался.

— Хватит. Ну, что? Не имею?

Ребята сидят неподвижно. Ладька ничего уже не может сказать. Я уже хочу вылезти из-под брички.

— Надо идти, — говорю им. — Вставайте.

Вдруг Ладька берет меня за руку.

— Подожди. А вкусное?

— Что вкусное?

— Вино.

— Конечно, вкусное. А ты как думал?

— Дай попробовать, а?

— Э, нет, этого я уже не имею права. Чтобы всякому давать...

— А вот дашь...

— И не дам...

— Говорю, что дашь...

— Говорю, что не дам, и не дам. А причащать тогда чем будем?

Ладька поднялся.

— Как знаешь. Я и не прошу. А вот если я заявлю батюшке на законе божием, как ты ведешь себя здесь в отроках, тогда увидим. Пойдем, Фома.

Я оторопел:

— Как заявишь?

— Да так. Расскажу все, как было. Как ты нас

встретил, как затащил под бричку, как пил Христову кровь. Тогда посмотрим, что ты за отрок.

Этого я уже не мог предвидеть. Ладька всегда умел сделать человеку пакость. Да разве ж я знал, что он пойдет на такое? Я подумал, посмотрел, сколько там в бутылке вина. У меня аж руки опустились.

— На, пей, — подал я ему бутылку.

И Ладька начал пить. Он даже глаза зажмурил. Но на четвертом глотке я выхватил у него бутылку.

— Что же ты пьешь? Разве ты не видишь, что уже и для причастия почти ничего не осталось?

А он вытер рукавом губы и говорит:

— Таки вкусное вино! Дай еще Фоме попробовать. Давай, давай! Что он, хуже тебя? Ты пьешь, а ему нельзя? Бери, Фома!

Еще и Фоме дать... Пускай пьет. Может, они не Христову, а мою кровь пьют... Пускай уж пьют...

К горлу подкатился клубок.

— Пейте... хоть все...

Но в эту минуту дверь в сарай вдруг открылась, на пороге появился взволнованный, запыхавшийся и тоже без шапки дедушка Григорий.

— Гаврила! — крикнул он. — Что же это ты делаешь, курья твоя голова?

Я так и застыл. Но что я мог сказать? Дедушка Григорий посмотрел на нас всех и все понял. Он выхватил из рук Фомы бутылку, ударил его по лицу, потом раза четыре смазал Ладьку так, что тот даже кровью умылся.

— Пошли вон, прохвосты! А-х-х, вы ж... Ну! Поймаю ж я вас...

Да где их поймать, когда они и так стрелой полетели из сарая! А я стою перед дедушкой Григорием, словно на страшном суде перед богом. Взял он меня за ухо.

— Крутите хоть изо всех сил, только не губите меня, — бормочу я сам не знаю что.

А дедушка посмотрел на меня, посмотрел, потом, смотрю, отвернулся да рукой, в которой была бутылка, вытер глаза.

— Вот курья голова... Прямо как Васька мой был

когда-то... Собачник ты! Ведь ты ж знаешь, что батюшка ждут вина? Вот расскажу я им, как ты служишь, тогда узнаешь.

И ухо мое он покрутил всего только раз. Да разве он умеет, как отец Александр! Чтобы аж искры из глаз посыпались... Не умеет. Покрутил, лишь бы покрутить. Потом посмотрел на бутылку.

— Беда! Вот так та́к... Причащай теперь, как знаешь... Вот арестанты! Вот... Ну? Придумать такое! Батюшка на проскомидии стоят и до сих пор службы не начинают, народ ждет, люди ведь еще не ели. «Что за наказание! Чего это батюшка так долго держат сегодня?» А он тут собрал бал, да и угощает. Что, не разоритель ты?! Ну, что теперь я скажу им? А пробка где?

— Пробка вот тут, под бричкой...

— Дал бы я тебе бричку... Чтобы знал...

— Что ж теперь давать? Ничего, — говорю, — теперь этим делу не поможешь. Несите уж скорее.

Григорий вытер пробку, закрыл бутылку, ударил руками о полы и побежал в церковь.

«Что ж теперь, — думаю себе, — делать? Идти снова в алтарь, или, может быть, совсем не идти? Так как же не идти, если отец Александр мне сказали, чтобы я присматривался и все подмечал? Пойду».

Направляюсь я в ризницу. Бежать уже нет смысла, иду медленно. Стучу потихоньку в дверь. Не открывает Григорий. Подождал я немножко и снова постучал. «Слышит, думаю, но не открывает... Сердится, наверное». Потом все же открыл. Слышу, крючок соскочил. Пригладил я руками волосы, просовываюсь в ризницу. А дедушка и не смотрит на меня, только бормочет:

— Ич... пролезла... курья голова! Своих грехов не оберешься, а тут еще его бери на свою душу!

Я уж молчу. Творю молитву, крещусь. Проходит немного времени.

— Если спросит, так скажи — ногу разбил, потому что будет тебе, — бросает снова Григорий.

Милый дедушка! Всю жизнь ты прислуживал батюшкам, и они, оказывается, не съели твоего сердца.

Какое же оно в тебе, в самом деле, доброе! Припоминаю, что я даже не поверил сначала.

Как? Он не сказал батюшке? Ну, тогда уж я войду и в алтарь.

Служение уже началось. Самое время подавать кадильницу. Григорий дает ее мне в руки и, не глядя, вталкивает в алтарь. Я склоняю голову и, хромая на левую ногу, подхожу с кадильницей к отцу Александру. Отец Александр берут кадильницу из моих рук и говорят:

— Пошел вон!

— Ваше благословение, — шепчу я, — если бы я не вывихнул ногу, я бы тотчас принес. А то как-то оступился... Вот горе...

— Болван! А Григорий вино вылакал по дороге. Пошел из алтаря к чертовой матери!..

Я вышел. Я все понял. Жаль мне стало и дедушку и себя.

— Ну, что они? — спрашивает дедушка.

— Сердятся, — говорю.

— Сердятся. Шкуру бы с тебя спустить надо, дубина ты... Сердятся... Еще б не сердиться!

Молчу.

А дальше что ж так и стоять? Вышел я совсем из ризницы. «Ну, думаю, на первый раз неудача, во второй раз сделаю лучше...»

Пошел я к Кузьме. Он как раз в конюшне батюшкиного жеребца скребницей «воспитывал».

— Ну, как дела, отрок? — спросил он, когда я подошел к дверям.

— Да так, что не совсем, — вздохнул я и сел под стенкой на упряжь.

— Что ж, служил ты сегодня обедню?

— Да, служил... Немного...

— Вот я и говорю, был у нас в музыкантской команде тоже...

— Э-э, — сказал я с горечью, — что там у вас в музыкантской? А вот попробовал бы он причастие приготовить!

— Да оно конечно, эта триектория совсем другая.

— То-то и оно. А вы: «в музыкантской, в музыкантской. . .» Даже досадно!

Я умолк. Не захотел выносить священных секретов в конюшню. Что-то подсказывало мне молчать. Мы покурили с ним и разошлись.

А закончился тот день для меня совсем-таки счастливо.

Отец Александр, придя из церкви, в первую очередь обратились ко мне:

— А ну, ты. . . Зайди-ка сюда на кухню. Зайди-ка. . .

Я и не убегал. Зашел. А куда я мог деваться? Ничего не оставалось, как «зайти» на кухню.

Ну, тут меня отец Александр и «причастили». Я никогда не думал, что так могут бить в доме священника. И за что бить? За чернила. А за вино уже досталось дедушке. . .

— Теперь будешь расторопнее? — спросили отец Александр, кончив. — Будешь?

— Буду! — ответил я сквозь слезы.

— Что будешь, дьявольская печенка?

— Расторопнее, ваше благословение. . .

Я поклялся, что вовек не забуду им того «причастия». На что уж Меланья хохотунья, а и та посочувствовала мне.

— Ничего, — говорит, — пройдет. Я старше тебя, да и то переношу. Бывает, что и миски на моей голове бьют.

А я все-таки поклялся отомстить. И не так за битье, как за эту «печенку». Лучше бы они совсем с меня шкуру содрали, чем сказать такое слово. Еще никто на свете не говорил мне такого. . . Ну, хорошо, пускай же. Увидим, какая я «печенка». . .

Кадильница

Проходят дни. Отец Александр уже не злятся на меня, но какая это жизнь! Теперь я только и жду случая, чтобы доказать их благословению, какой я стал «расторопный». . . И это ожидание было естественным, оно скрашивало мое пребывание в церковном доме. Не мог я забыть «печенки». Какая-то злость разгоралась

во мне неугасимым пламенем. А жизнь чуть ли не каждый день приносила все новые разочарования.

Именно в ту пору в нашем селе переписывали лошадей, фургоны, упряжь и так далее. Для войны с японцами, что ли. И, бывало, к батюшке заезжал старшина с комиссией.

— Ну, с лошадьми всё, — говорит он. — Не выпить ли, батюшка, после трудов?

Отец Александр благословлял их, и потом они шли в комнаты. А там, бывало, благословлялись до самого утра... Набегался уж я тогда к Ширману. Туда несешь пустые бутылки, а оттуда полные. Принес, а те уж снова пустые... Только и слышу: «За веру, за царя и за отечество...»

И снова бегу. Только не мог я по этой причине укреплять в себе достоинства отрока. Набегаешься, упадешь. И начинается... Все меня «печенка» мучит.

Когда на следующий день отец Александр надевали новый подрясник и снова выходили во двор, бодрые и ясные, они еще напоминали мне Иисуса.

Я к тому времени был уже изрядно «занят» при батюшкином дворе: колол дрова, носил воду, помогал Меланье, чистил свеклу на зиму, рубил капусту, набивал матушке папиросы, вытряхивал по утрам штаны их благословения на чистом воздухе. И это было тяжелее всего. Тряхнешь — и будто всего тебя трясет. Не мог я никак смириться с таким законом. Разве мыслимо: их благословение — и в штанах! Ну пускай бы в чем-либо другом, а то... И это архиерей разрешает! В тех случаях, когда отец Александр снова напоминали мне Иисуса, я старался не глядеть на них ниже пояса, а только на лицо и на грудь, где блестел серебряный большой крест. Сам не пойму, почему я не мог опустить глаза ниже.

А вот однажды старшина привез с собой не только комиссию, а еще и Ефима Ивановича, заведующего министерским двухклассным училищем. Об этом училище я, оборванный мальчишка, мечтал, как забитый еврей о недоступном университете. Я сразу узнал Ефима Ивановича. Он был очень умный и такой рябой, что на него страшно было смотреть.

«Вот это учитель! Вот это да!» — подумал я, зажмурив глаза. Его фигура в сером костюме, в фуражке с кокардой, с платочком, как снег, так и стояла передо мной. Я думаю с закрытыми глазами. И вот чувствую, как чья-то душистая рука сильно берет меня за ухо, а спокойный, но насмешливый голос обращается ко мне:

— Ты кто такой?

Я открыл глаза. Передо мной стоял Ефим Иванович.

— Ну, говори.

— Я, — говорю, — не знаю, как вам и сказать. Был я в школе Кириченко Гавриил, потом обратно тут за отрока, а теперь уж и не знаю, как величать себя.

Ефим Иванович весело засмеялся и отпустил мое ухо.

— Так ты ученый! А грамматику знаешь?

— Еще бы! — говорю. — Грамматику? Это пустяк.

Он смеется и вдруг спрашивает:

— Именительный?

А я ему не задумываясь трах:

— Кто! Что!

— Родительный?

— Кого! Чего!

— Дательный?

— Кому! Чему!

— Ах ты, сукин сын! — сказал довольным голосом Ефим Иванович. — Где же ты обучаешься?

Но в эту самую минуту матушка позвала его, и я не успел ему рассказать о себе. Подумал только:

«А что, поймали? «Кого-чего» не знаю? Если придется, так я и не то еще отвечу. Лишь бы спросили. . .» Очень по сердцу пришелся мне Ефим Иванович. «Вот этот, думаю, как ударит! Но зато уж и научит. Видно ж по морде».

Вечером, когда они разгулялись до самого высокого градуса, я зашел в кухню и стал смотреть через открытую дверь в столовую, где они сидели за круглым столом. Если бы у меня было желание, я тоже мог бы выпить, потому что в бутылках кое-что оставалось. Да

на что мне пить! Тоже счастье! Я лучше буду смотреть. И вот я стою и смотрю. Их много, а я один.

Старшина о чем-то говорит, а сам весь мокрый. На груди у него висит медаль, а на бороде квашеная капуста. Он вспотел. Он обливался пòтом в своей толстой поддевке. Но старшина не сбрасывает ее, потому что на ней «миндаль», а эта «миндаль» пришита. Как только он сбросит поддевку, так сразу и «миндаль» исчезнет... Ефим Иванович пускает ему в бороду дым от папиросы и смеется.

— Вот уж бугай обческой! Откормили вас, Митрофан Степанович?

— Да благодарение богу.

А Василий Иванович Мороз, тенор в синих очках, который поет в церковном хоре, а пьет вместе с комиссией, так тот с кем-то спорит:

— Оставьте! Бог есть. Как-таки так? Ну, как-таки так?

А матушка — ну и странные же они! Тоже, наверное, дернули немного. И нужно им это! Выпили, да еще и оправдываются:

— Ну, пускай есть, пускай нет — что вам до этого? Вы ж свою часть получаете? Как похороны или свадьба, так вы кое-что имеете.

«Это, наверное, правда, — думаю себе. — Только... как же это матушка так говорят, будто и да и нет? Пускай есть, пускай нет... Наверное, это я ослышался».

Слушаю — Мороз продолжает кричать:

— Как-таки так? Это хорошее дело!

Вдруг слышу, и отец Александр подают свой голос:

— Я не допущу кощунственных разговоров!

А Ефим Иванович так смеется, даже хохочет. Отец Александр тоже улыбаются ему. Просто у меня голова раскалывается. Как же это?..

— А я вам говорю: бог есть! Как-таки так? Почему ведь сказано, что войди в дом твой и...

— Беда! — говорят отец Александр. — И голос хорош, и человек умный, но только чуть выпил — дурак.

— Э, нет! Как так, что дурак? Почему ведь ска-

зано: «Яко несть во устех их истины, языки своими льщаху». Слышите? Своими льщаху!.. Потому что нет правды в их устах, сердце их легкомысленно, горло их как гроб открыто, языки их льстивые... О! А вы говорите, что дурак. Нет, объяснить надо мучительный вопрос...

— Да иди ты к... На днях тоже затянул на похоронах... У мужиков даже глаза расширились от удивления...

— Хо-хо-хо-хо!.. Неужели на похоронах? Этот вам напроповедует... — хохочет Ефим Иванович.

— А почему же сказано: «Воздвиго-о-о-ша, — поет, — реки гос-по-о-д-ни, воздвигоша ре-е-е-ки гласи сво-я...»

Но его уже никто не хочет слушать. Старшина надулся и тоже начинает петь, только не божественную, а солдатскую. Но Василий Иванович склонился грудью на стол и кричит, чуть ли не плачет:

— Да как-таки так, что бога нет?

Старшина начинает рыдать:

У-у-у-у солдата сердце мрет,
Ведь солдат в поход идет.

— Почему нет? Бог есть, — отвечают отец Александр.

Я, услышав эти слова, оживаю. Оживаю затем, чтобы тут же получить смертельный удар. Василий Иванович спрашивает дальше:

— Есть? А как же так, что есть? Объяснить ведь надо мучительный вопрос. Потому что, если же нет... если нет... — У него даже мускулы напряглись. — Если нет, так пошел же он, знаете, куда... Зачем же тогда сказано, что... Эх, нет тогда бога никакого, и не надо!

Искренний Василий Иванович! Он не читал гениального Вольтера и не знал о том, что бога надо выдумать, если его нет. Он зарабатывал в неделю несколько вкусных калачей — вот и все. «Если бы?» А этот черный жук сомнения терзал его сердце. Выпьет человек, разбудит этого жука, а тот и давай поносить веру. Да еще при людях...

Я же стоял тогда как на адских углях. Подо мной качнулась земля. Еще немного — и я не выдержу. Единственная надежда, что отец Александр ударят богохульника, заступятся за господа своими пламенными словами. Иначе... что же это такое? Зачем же я тогда хожу в отроках? За что я страдал? И вот я слышу:

— Нет, есть... для таких дураков, как ты и твоя бабушка.

Эти слова отца Александра потонули в шуме. Но для меня они прозвучали как гром. Я от ужаса закрыл лицо руками. Вот тебе и «пир господень во Капернауме»!.. А тут еще и старшина. Возненавидел я его совсем.

— Ах, батюшка, давайте выпьем еще по рюмочке, а то у меня что-то сосет под ложечкой.

Больше я не мог смотреть на эту картину. Тяжелый сон навалился на меня. Я упал под дверью, пьяный от одолевавших меня дум может сильнее, чем пирующие от вина.

. . . .

После этого вечера меня уже совсем не привлекала кадильница, хотя у отца Александра было их две. Одна — старенькая, с которой он ездил на похороны, на молебны и тому подобное. А вторая — новая, серебряная, даже со звоном. Обе они висели на гвозде за шкафом. Я давно уже натешился ими и увидел, что нет там ничего мудреного. И странное что-то произошло со мной: кадильница из тыквы, которую батька разбил на моей голове, почему-то стала для меня в тысячу раз дороже, чем эта, серебряная, с настоящими цепочками, с кольцом для большого пальца и с крышечкой, на которой торчал шестиконечный крестик. Когда я, бывало, кадил своей тыквенной, мне казалось, что тело мое раскачивается на белых облаках, а дым от ваты опьянял мою душу небесным ароматом. А тут, добравшись наконец до настоящей кадильницы и испытав ее, когда батюшки не было дома, я почувствовал, что меня даже затошнило от ладана. Я пытался петь так, как я это делал дома, но из этого ничего не получалось. Ничтожное завывание вместо вдохновен-

ной службы, наигранный пафос вместо настоящего подъема. А что самое удивительное — у меня получалось точно так, как у отца Александра. Я только сейчас это почувствовал. У него тоже так. Это меня поразило.

Я повесил кадильницу на гвоздь и уже больше не притрагивался к ней.

После того вечера мне не пришлось долго ждать случая, чтобы доказать отцу Александру, что я уже стал «расторопным». Тогда-то я и узнал, как могут пригодиться в жизни такие довольно увесистые вещи, как две металлические кадильницы.

Приближался престольный праздник. Вы не забыли, наверное, о том, что отец Александр на этот праздник пригласили благочинного вместе с матушкой? А кроме того, должны были еще приехать священники из других приходов. Горячка у нас была такая, как у хорошего хозяина перед молотьбой. Дедушка Григорий не выходил из церкви. Он чистил подсвечники самоварной мазью, так что они даже горели. Очищал иконы от паутины и пыли. Для этого у него был веник на длинной палке, как вилы, которыми бросают снопы. Вытряхивал коврики, мыл окна, натирал маслом потемневшие лица святых. Работы хватало. И дома у отца Александра не меньше.

Однажды вечером, когда я внес дрова, чтобы растопить печь в комнате отца Александра, я увидел их перед большим зеркалом. Они стояли ко мне спиной и читали проповедь. Иногда они прикладывали руки к сердцу, говорили тихо и нежно, а иногда вытягивали их перед собой, почти касаясь зеркала, и тогда их голос звучал так сурово и неумолимо, как, бывало, у нас на уроке закона божия.

— Православные христиане, братья и сестры во Христе!

Долго они говорили и все напоминали о том, чтобы народ покаялся, чтобы не грешил, чтобы не забывал бога. «Ах ты, — думаю себе, — благословение в штанах! А недавно что ты говорил? А теперь — чтобы не

забывали?» Напоминали они и о страшном суде и о том, что в евангелии сказано, что не знаем мы того часа, когда затрубит труба архангела и призовет грешников на суд. Словом, получалось, что покаяться нужно до зарезу. Я послушал его немного и снова подумал: «Вряд ли они покаются. Разве только для виду». Но я вздохнул и сказал:

— Батюшка!

— А-а? Ну как, Гавриил? Ты слушал?

— Да, слушал. Можно разжигать?

— Разжигай. А как? Трогательно?

— Очень, — говорю, — трогательно.

Он прошелся по комнате и остановился возле меня.

— А как тебе матушка Аделаида сказала? Получишь пятнадцать копеек? Го-го-го!.. А ты и впрямь-таки поросенок.

Отец Александр были в хорошем настроении. Но мне совсем не хотелось шутить. Безвыходность моего положения с каждым днем становилась для меня все очевиднее. А день расплаты не приходил. Они думают, что я забыл о «печенке»... Как же! Такие слова до смерти не забудешь, хотя бы и захотел.

— Так и сказала? — снова начал он.

— Так и сказали. Ну, пятнадцать копеек, — говорю, — пока что я не видал, да и не знаю, увижу ли.

Они довольно улыбнулись и погладили свою бороду, на которую я уже не мог смотреть. Я затопил печь и пошел на кухню.

До праздника оставался один день, а работы еще хватит на три дня. Матушка сами наводили порядок и командовали мной и Меланьей. Готовилось два гуся, молоденький поросенок, пироги с яблоками, холодец, кисель, утки, хворост из такого теста, что даже светится, и еще несметное число разной мелочи. Матушка не хотели, чтобы гости остались голодными. Матушка хорошо знают эту Аделаиду: она пока у тебя за столом, до тех пор и хороша, а вышла из дому, так тебя сразу и осудит... Разве матушка не знают ее? Тоже красавица нашлась! Только и счастья, что благочинная.

Мы не обращали внимания на то, что там было между ними. Разве это нас касается? Мы с Меланьей

едва успевали выполнять приказы матушки. Кроме кухонной работы, у нас была еще и другая — мыли комнаты, скребли полы. Благочинный вместе с матушкой Аделаидой должны были после ужина остаться здесь ночевать. Так предусмотрели отец Александр.

Наконец прошла и последняя тревожная ночь. Утомленный вконец, я вскакивал во сне, что-то бормотал, кричал и кому-то угрожал. Мне снились благочинный, матушка, Кузьма, который говорил «далай-идол» отец Александр с чернилами во рту, Василий Иванович, кричавший: «Бога нет и не надо», — и другие ужасы. Но, проснувшись утром, я чувствовал себя таким бодрым и смелым, точно впервые на свет родился: почему-то у меня было такое предчувствие, что сегодня непременно должно что-то случиться или со мной, или с батюшками.

— Что-то у меня сегодня неспокойная триектория, — сказал я Кузьме. — Не придется ли кому-нибудь пострадать?

День начался звоном колоколов, которые гудели потом до самого вечера. Дедушка Григорий пустил на колокольню парней, так они как ударят польку — ну, даже в алтаре устоять нельзя. Ой, уж и звонили! Особенно Митька-слепой. Так у него колокол и гудит, и поет, и играет, и даже тявкает. Первый звонарь на всю округу! Как только я выбежал со двора и взмахнул шапкой, что батюшки направляются в церковь, он ударил «встречу». Вот это была встреча! Впереди с высоким посохом идут благочинный, потом отец Александр, тоже с посохом, потом один батюшка из другого прихода, а потом еще один батюшка из третьего прихода, и оба тоже с посохами. Немного в стороне кучкой идут четыре матушки. Я бегу впереди всех, Григорий ждет возле ограды, а Митька-слепой бьет «встречу»... Людей видимо-невидимо. А наших! Наверное, со всей волости сошлись. Кроме этого, вся власть: и пристав, и старшина, и еще какие-то незнакомые мне начальники. Ну, отправили богослужение! Три батюшки служили, а благочинный был за главного, ризы на нем сияли золотом, горело паникадило,

певчие чуть церковь не разнесли. А мне все ничего, — меня все это будто и не касалось.

После службы пообедали возле церкви с народом, а потом пришли к отцу Александру. Здесь-то уже и начался настоящий «храм».

Четыре священника, из них один благочинный, и четыре матушки — это вам не что-нибудь, а компания из восьми священных персон. Прибавьте еще сюда пристава, приставшу, Ефима Ивановича, Мороза, старшину, затем еще нескольких незнакомых начальников, и тогда представите себе, какая в самом деле получается благородная картина: человек двадцать начальства навалились на гусей, а особенно на бутылки с вином.

Наши матушки просто сияли от удовольствия. Аделаида, конечно, не ожидали, что здесь будет так многолюдно, и пышно, и весело, столько еды и все такое вкусное. Конечно, мы себе с Меланьей помалкиваем, будто бы все это и не нашими руками делалось. Я только слежу за отцом Александром. Их глаза наливаются чем-то густым, как оливковое масло. Все увиваются вокруг благочинного, и сам отец Александр подливают ему в бокал то вина, то водки, то вина и водки сразу. Их высокопреподобие отец Алексий опустошают эти бокалы с какой-то страшной легкостью. На глазах у отца Алексия слезы, они плачут.

— Александр! И ты ничего не знаешь... Ты не знаешь моей жизни...

Отец Алексий очень высокие и худые. Волосы у них уже седые, заплетенные в тоненькую косичку, из которой торчат кончики ленты. Бородка у отца Алексия тоже седая, узенькая, реденькая и длинная. Они все время теребят ее в своих пальцах, кладут на нижнюю губу и покусывают верхними зубами. А из глаз так и льются слезы. От сочувствия я на минуту отворачиваюсь —не могу глядеть на них. А они говорят:

— Благочинный... Сан... У архиерея отмечен. Скуфья, набедренник и прочее... А она, — что-то говорит на ухо отцу Александру, — думаешь, она ценит и понимает? Эх, не знаешь ты... Конечно, я, — что-то говорит на ухо, — слов нет, а она моложе.

Мне кажется, что они обижаются на Аделаиду, а за что, этого я не слышал. Разве в таком шуме что услышишь! Отец Александр одним ухом склонились к благочинному, а глаза его бегают где-то по другой стороне...

Я начинаю кое-что понимать. То письмо, наверное, было совсем не божественной тайной, а просто отец Александр хотят сделать этому доброму и тихому благочинному какую-то пакость. У меня все закипело внутри, будто я глотнул кипятка. Я не знал, что делать, как предупредить беду, потому что не видел, откуда свалится эта беда.

Между тем давно уже наступил вечер. В комнатах плавали тучи табачного дыма, перемещаясь из одних дверей в другие. Меланья зажгла лампы. Пришла ночь. Мы закрыли ставни. Мне казалось, что наш дом дрожит от дыма и божественных песен. Василий Иванович Мороз напился вдрызг, вышел во двор и упал возле крыльца. Ефим Иванович первым пошел домой, а потом разъехались пристав и другие. Наконец остались одни батюшки, да и то один из них уже спал на сундуке с рясами, а другой — возле сундука.

Дольше всех держались отец Александр и благочинный. Но что я заметил? Отец Александр пили очень мало, а благочинному подливали часто. Тот не отказывались, и все плакали. Наконец они склонили голову на руки, как-то странно всхлипнули раза два, словно ребенок, и заснули за столом, где сидели. Косичка у них торчала вверх и тихо покачивалась в такт дыханию. Тогда отец Александр встали и, выпрямившись во весь рост, обвели глазами комнату.

Три деревни, два села... —

запели они сквозь зубы и, улыбнувшись, сплюнули. Кажется, они совсем не были пьяны. Они вошли в кухню, где я, лежа на своем посту за печкой, следил за этой живой картиной. Осмотрев все углы, убедившись, что я, Меланья и старшина, который лежал возле кадки с водой, спим, словно мертвые греки, они тихо возвратились в комнату. Я здорово захрапел им

вслед, хотя мои глаза смотрели и смотрели так проницательно, как никогда. Отец Александр сняли с себя подрясник и, улыбаясь, накрыли им благочинного, а сами пошли в другую комнату.

Значит, ничего. Они не трогали благочинного. Еще и прикрыли старика... Но вдруг я подумал: где же это наша матушка и матушка благочинного? Спят? Где? Почему я их не вижу?

Я уже не мог улежать. Вскочив на ноги, я прислушался и на носках прошел в столовую. «Если они спят в одной комнате, значит ничего. Если же в разных, то благочинному угрожает опасность». Почему я так подумал, откуда пришли мне в голову такие странные мысли, сам не знаю. Все плыло передо мной как в тумане, я словно задыхался. Заглянув в одну комнату, я заметил там трех матушек. Но где же четвертая? И потом, какой именно здесь нет, нельзя разобрать, потому что в комнате полумрак. Тогда я приник ухом к двери другой комнаты. Она плотно прикрыта. Я услыхал тихий говор отца Александра и будто другой, но еще более тихий шепот.

Тут, без сомнения, находятся матушка. Ведь старшина так тихо говорить не сможет. Да вот он лежит возле кадки. Но если это в самом деле матушка, то какая же из четырех? Мне-то наплевать, это дело священническое. Но если здесь Аделаида, так я не хочу быть виноватым. С какой стати? Я передал ей письмо, а теперь за моей спиной хотят обидеть благочинного, который никакого зла мне не причинил. Кому я делаю добро? Отцу Александру? А кто сказал мне, что я чья-то «печенка»? Эти мысли молниеносно промелькнули в моей голове, и в ту же минуту я вспомнил отца во время наводнения, икону Николая-чудотворца, алтарь и тот вечер, когда Мороз спрашивал о боге, а батюшка так ему ответили.

«Бога нет? — спросил я себя. — А раз так, запирай их на замок, утром разберутся, у кого какая «печенка»...»

А подбивала меня на это одна мысль, которая влезла в мою глупую голову: мне почему-то казалось, что отец Александр сами хотят сделаться благочин-

ным, Аделаида же сердится на своего и помогает отцу Александру, вот они и шепчутся.

— Ну, шепчитесь, шепчитесь! — пожелал я им.

Затем, разыскав на кухне огромный замок, надел его в кольца, висевшие на дверях, запер, а ключ положил на стол перед самым носом благочинного.

Теперь как-то оно будет?

На всякий случай я собрал в сумку свои книги, нашел портянки и все это положил возле себя наготове. Потом я подул на лампочку, тлевшую в кухне, и, словно подбитый пулей, упал и заснул. Эти события измучили всю мою душу.

Я проснулся от страшного стука и крика. Ослепленный дневным светом, который уже врывался в комнату, я ничего не мог понять. Но это только в первую секунду. Потом я вскочил со своего места и враз обвел глазами все побоище. Первая мысль была:

«Ага, значит, их благословению не до шуток!»

Тут я разглядел и детали. В открытых дверях спальни стояли отец Александр без подрясника, потому что им они накрыли благочинного, а напротив них с растерзанной душой и с лицом, посиневшим и дрожавшим от гнева, благочинный. Матушка Аделаида не могли выйти из комнаты и стояли, спрятавшись за спиной отца Александра. А наша матушка рвали на себе волосы и повторяли одно и то же:

— Ах, мерзавец, а еще священник!

Благочинный будто окаменели. В руках у них ключ и замок. Это он отпер их, когда отец Александр стали стучать кулаком в дверь. Окно было со ставнями, закрытыми железными запорами, которые Меланья еще не успела снять.

Наконец у благочинного подскочила вверх бородка, и они закричали таким высоким голосом, как только могли:

— Пес! Пес проклятый! ..

С этими словами они оглянулись вокруг, ища, что можно было взять в руки, и вдруг посмотрели на шкаф, где висели кадильницы. Они сорвали с гвоздя кадильницу и, размахнувшись ею так, что она засвистела,



огрели отца Александра по голове. Отец Александр страшно закричали, и в ту же минуту в воздухе взметнулась другая кадильница и зазвенела о голову благочинного...

Я мог выдержать какое угодно зрелище, но этого я вынести не мог. Четверо батюшек, и у каждого по матушке! И все это свалилось в одну кучу...

Я быстренько обулся, схватил свою сумку и без капли сожаления о том, что оставляю чин отрока, выбежал из дома.

Какое же прекрасное, ясное солнышко встретило меня, когда я вышел из этого подворья! Передо мной была дорога, и мне хотелось бежать по ней до бесконечности.

Куда?..

К Глафире Ивановне? Она примет меня, непременно примет, если только узнает про все, что случилось у отца Александра. Но мне противно было бы самому рассказывать ей об этом.

«Пускай узнает от людей», — подумал я и вдруг направился к министерской школе. Почему? В один момент у меня появилась непоколебимая вера в то, что этот рябой, добрый Ефим Иванович, спрашивавший у меня «именительный», «родительный», сразу скажет мне: «Ступай в класс».

И я пошел.

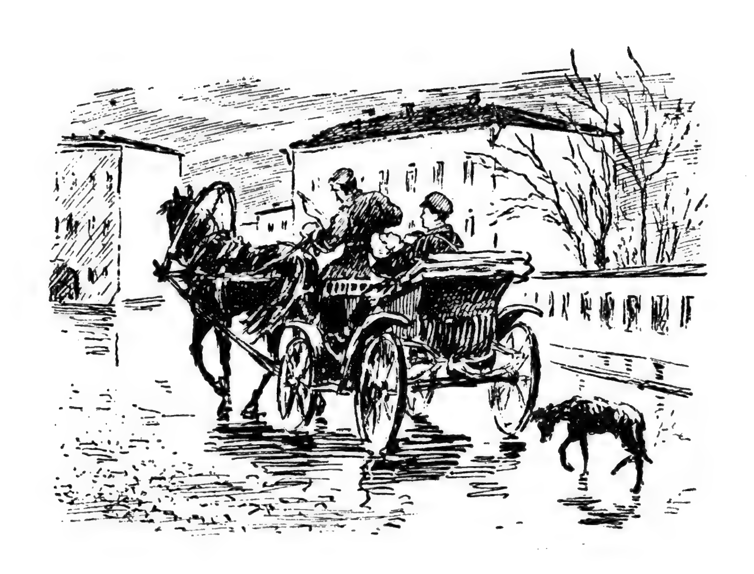
И с того дня я стал учеником третьего отделения министерского двухклассного училища.

Может, вас интересует: а как же с Глафирой? Мы помирились с ней. Она сказала отцу: мол, ей очень жаль, что я ушел от нее, но ее жизнь стала с тех пор спокойнее.

А их благословение отца Александра перевели в другой приход. Народ очень жалел, что такой праведный батюшка, а его переводят. Так что ж? Наказ консистории. Ничего не поделаешь.

Так навеки умерла моя любовь к кадильнице.

Одесса — Харьков — Ялта,
1926—1927



УРКАГАНЫ

I

История художника Алеши начинается с того дня, когда он, оставив опустошенные имения помещика Келиповского в изрезанных новыми границами степях, без каких бы то ни было планов на будущее попал в большой город. Это случилось на тринадцатом году его жизни, именно тогда, когда желания еще могут довольствоваться фантазией, которая своим неугасимым огнем закаляет человека, унимает боль от неосуществленных юношеских мечтаний. Ее неугасимый огонь сменяется печалью, и печаль эта светится в глазах того, кто носит ее в своем сердце. Так было и с Алешей, хотя мы совсем не знаем ни его прошлого, ни его родителей, ни их характеров, ни их жизни, вернее — знаем об этом очень мало и то лишь в общих чертах. Вот эти скупые сведения: где-то

когда-то существовала большая земледельческая фабрика, роскошная латифундия вельможного пана Келиповского, владевшего пятью тысячами десятин земли и десятками экономий. В этих экономиях вечно стонали сезонные рабочие с серыми лицами, с узлами вместо рук и ног, с горбами вместо спин и с черными сгустками крови, смешанной с черноземом, вместо сердец и душ. Среди них были спорые в работе, стройные, изящные девушки, с лицами, пылавшими от молодой любви. Но с годами и их огонек угасал, покрывался пеплом и тяжелым нагаром от грубых надругательств жестоких и ненасытных приказчиков, разъездных и надсмотрщиков, неумолимых в своей звериной силе. Порой в этих латифундиях появлялись, сея буйное зерно, смелые путешественники, щедрые на искренние слова и пылкие призывы. Бывало, что и они, спасаясь от барских псов, убегая глухой ночью в другие места, уносили с собой в далекие губернии горячие сердца этих черноглазых девушек.

В одной из таких экономий где-то в ковыле и родился Алеша. Это случилось в самую страдную пору, и он остался лежать там в траве, завернутый в лопухи, до тех пор, пока его мать, девушка с черными глазами, смогла прийти к нему и принести свою грудь, переполненную молоком и горечью. Ей не очень трудно было скрывать своего ребенка от чужих глаз и непогоды. Там оказалось достаточно скирд, конюшен и скотных дворов. Алеша рос в тепле. От кизяков шел теплый пар, а степной ковыль наполнял его грудь буйным ароматом.

Так было, покуда он не вырос и не начал работать. Потом от экономии осталось лишь пожарище, а вскоре и оно заросло ковылем и густым чертополохом. Питаться ему приходилось стеблями лебеды и горького какуша, что росли в глубоких рвах бывшей экономии. Вот так в пустырях и тянулось детство Алеши.

Однажды какой-то добрый крестьянин подобрал его в степи, усадил на телегу и привез в город.

— Вот тут тебе, братишка, и станция, — сказал он Алеше. — Приют.

Потом он привел Алешу в канцелярию детского дома и сдал его заведующему с таким направлением:

«При сем прилагаем, как невозможно нам больше содержать бездомного мальчика из экономии, потому что он голодает, а память подходящая и рука хорошая, также умеет рисовать всякую всячину и лепить штучки, которые выходят из глины интересные на вид, так, может быть, приют и приютит его и даст бесплатно образование, потому что мальчик сметливый даже удивительно, что удостоверяется охвициально.

Уполномоченный сельсовета
(такой-то)».

Заведующий домом, прочитав это направление, улыбнулся и обратился к мальчику.

— Куда ж я тебя возьму? У меня и так переполнено. Больше некуда. Куда ж я возьму?

— Возьмите! Хоть кровь из носу, а возьмите, — сказал крестьянин. — Потому куда же нам с ним деваться? Ить оно может пропасть без последствия. Оно же такое, звините, как утенок, утлое. А жаль. Пастухов у нас и своих столько, что...

Алеша молча стоял возле дверей и грустными глазами рассматривал стены. По его лицу, словно взбаламученная прозрачная вода в фарфоровом кувшине, скользила тень. Он поднял руку и неловко запустил пальцы в бронзовую шевелюру, что упорно вилась над его спокойным лбом. Алеша посмотрел на крестьянина, отвернулся и вздохнул:

— Если б в художественное!

Это была его мечта. Его глаза на мгновение вспыхнули и угасли под тенью опустившихся век.

А за дверью уже шумели и визжали неугомонные обитатели детдома.

— Корешок, посторонись, — восклицал чей-то до смешного угрожающий голос. — Посторонись, пока не дзизнул, дай заглянуть...

— Отойди! Я сам!

— Посторонись, а то поеду!

— Ты? Посмотрите на него! Он поедет!

— И поеду.

— На ком? А ну, на ком? Может, на мне?

— На тебе! Посторонись!

— И-и, задава...

— Ух ты! Пусти, я его ковырну по карточке!

Голоса сплелись в клубок, ударились в дверь, смешались с топотом и шарканьем целой кучи тел. Там, наверное, затеяли потасовку.

— Что такое? Кого? Эй! Сюда!

— Новенький! Привезли новенького! Мамалыгу!

Мужик тряхнул бородой, с нее слетели две соломинки.

— Иш, какие охвицеры! — обернулся он к двери.

А дверь уже открылась, любопытные глаза пробежали по Алеше — от голых, потрескавшихся ног до волос, в которых нервно подрагивала его прозрачная, хотя и грязная, рука.

— Смотри! Рыжий! Кхе...

— Пс-с! Ты откуда взялся?

Заведующий нахмурил брови, спокойно сказал:

— А ну мне...

Ребята стали подталкивать друг друга.

— Ты, не шуми! Чего шумишь? Не видел человека?

И они засмеялись.

Тогда заведующий спросил у новенького:

— Как тебя звать?

— Алешка, — ответил тот.

— Так что же мне с тобой делать, Алешка?

— Не знаю.

— Гм... Ах ты, художник златокудрый!

Алеша поднял ровные, стрельчатые брови.

— Как знаете.

— Товарищ начальник, имейте сочувствие, — сказал крестьянин. При этом он одернул пиджак и пошел к двери. — Значит, я поеду себе. Имейте сочувствие.

— Поезжайте, — ответил заведующий. — Поезжайте, дяденька. Ничего не поделаешь.

И он взял Алешу за руку.

Так началась для Алеши новая, загадочная и незнакомая жизнь.

С жадностью, как сухая земля воду, впитывал он глазами, ушами, всем своим существом чудесный южный город. Этот город был наполнен удивительным, непривычным шумом. Улицы, залитые дрожащими лу-

чами солнца, были заполнены оживленным человеческим потоком, шарканьем башмаков, вздохами утомленных людей, скрывавшихся в тени деревьев. Извозчики, опершись на кнутовища, казалось, окаменели на своих высоких сиденьях. Вблизи домов пролетали трамваи, их стекла в позолоченных рамках отсвечивали всеми цветами радуги. Трамваи звонят часто, тревожно, прерывисто.

«Дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!» — откликается в Алешином сердце, наполненном до отказа неизведанной радостью жизни. Он убегает от ворот, бросается в широкие просторы улиц и, подчинившись их власти, ходит по городу как во сне. Его все поражает. По тротуарам идут роскошные женщины. Их одежда благоухает чудесным ароматом незримой весны. Какие прекрасные сумки висят на их белых руках! Иногда женщины останавливаются на углу улицы, открывают сумочки и подносят их к своим сияющим глазам. И тогда перед Алешей блестят сказочные зеркала. Женщины вынимают легонькие, как ветерок, платочки и слегка вытирают ими свои пунцовые губы. Но потом они быстро-быстро, почти неуловимо для глаза, проводят какой-то золотой свечечкой по своим губам, и губы наливаются кровью. Они проходят, оставляя после себя сладкий запах пасхальных дней; Алеша видит, как покачиваются их спины в шелковых платьях и горят на солнце блестящие туфельки. Потом Алеша останавливается перед огромным черным котлом. Котел кипит возле тротуара и разъедает глаза прохожих сильным и едким запахом смолы. Рабочие железными шестами перемешивают в котлах черную смоляную кашу. По их спинам течет грязный пот, а на висках вздуваются жилы, словно змеи в воде перед грозой. Женщины стороной обходят их, прикрывая от дыма свои лица. А ему хочется схватить камень, обмакнуть его в черную кипящую смолу и бросить им вслед. Лица рабочих строго улыбаются ему, и чей-то твердый локоть отталкивает его в сторону.

— Не путайся под ногами! Убирайсь! ..

Алеша перебегает на другую сторону улицы и, задрав голову, смотрит на страшные леса, которыми

опоясан новый серый дом. С головокружительной высоты доносятся до него удары по кирпичу, звон железных цепей и перекличка людей, что двигаются там среди ребристых досок и балок. У Алеши на душе так радостно, что ему хочется подбежать к лесам, взобраться по ним туда, вверх, хоть он наверняка знает, что будут ругаться, а может, и сбросят. . .

— Да не путайся, ты! Бесенок! Убьет! . . — кричат ему снова.

И в этот момент его внимание привлекла умилительная картинка.

Мимо прошла, далеко обходя тротуар, полная дама. Нить больших, как вороньи яйца, прозрачно-желтых бус дрожала на ее вспотевшей шее. А рядом с нею беленькая, будто выкупанная в молоке, кудлатая собачка с красной лентой под брюхом. Вдруг налетает какой-то уличный пес, черный грязный бродяга. Он явно решил дать жизни этой собачонке. Черный пес подскочил к ней, оскалил свои большие, как гвозди, зубы и открыл влажную кровавую пасть. Алеша бросился к этому храброму псу. Но дама вскрикнула от испуга и схватила на руки свою кудлатенькую собачонку. Та протяжно заскулила, тыча морду даме в лицо. Потом они скрылись за углом, а пес, опустив хмурую голову на тротуар, стал лизать горячий асфальт.

Алеша заложил в рот два пальца и свистнул.

Собака подошла и подняла на него свои влажные, утомленные глаза.

— На, проглоти! — сказал Алеша, бросая псу корку хлеба. — Ты здорово их напугал.

Потом он взял пса за ухо, разорванное во время ежедневной грызни с другими собаками, и стиснул его пальцами. Пес добродушно покосился на Алешу и пошел следом за ним.

— Я не знаю, как тебя звали до этого, — говорил Алеша, — а я буду называть тебя Черный. Но я не могу взять тебя в наш дом — там нет места. Я сам недавно здесь и никого еще не знаю. Если мне удастся, я буду давать тебе корки хлеба, они иногда у меня бывают. Теперь я разыскиваю желтую глину. Тут нелегко ее раздобыть. Ребята говорили, чтобы я пошел

к скалам, к морю, там она где-то должна быть. Так, наверное, я и сделаю.

Черный, опустив голову, шел рядом с Алешей и иногда тыкался мордой в Алешины карманы.

— Что ты нюхаешь? А, знаю... Там, наверное, крошки остались. Но их совсем мало.

Он вывернул карман, и несколько крошек хлеба упали на камень. Черный одним движением языка подхватил их. Ему еще больше захотелось есть.

Алеша с Черным подошел к детдому. На подоконниках открытых настежь окон сидели ребята и пели «Интернационал». Они тянули невпопад, их высокие, звонкие голоса резали ухо будто острым стеклом.

— О! О! Оно-но! — закричали ему навстречу.

— Идет, рыжая мамалыга! Идет!

— Нашел глину?

Ребята покатились со смеху. Алеша стиснул губы и сразу остановился.

— Иди отсюда, — глухим голосом сказал он Черному. — А то как бы и тебе тут не влетело.

Потом Алеша вошел в помещение и лег на свой матрац. Хотя он вскоре успокоился, но долго еще чувствовал в груди пустоту и холод.

«Что им от меня нужно?»

— Нашел глину? — кричали ребята, а один из них плюнул Алеше прямо в лицо.

— Тоже хундожник нашелся!

— Хундожник, и-ги-ги-ги! — заржал другой, льстиво угождая самому рослому из них, бросившему это слово с невыразимым презрением. — К заву подлизывается, — продолжал он писклявым голосом, набрасывая нижний конец убогого матраца на Алешину голову.

— Нет, брось ты эти штучки. Раз ты Алеша, так и будь Алешей, а то что ж ты? — снова сказал первый. — Это говорю тебе я, Матрос.

— А что ж я? — хриплым голосом спросил Алеша. — Ну, что ж я?

— А канешно!

— Что «канешно»? — Глаза у Алеши потемнели и стали острыми, как иглы. — Что «канешно»?

— А то, что брось!

— Что мне бросать? Ну? Что мне бросать?

— Вообще брось! Лучше слушайся! И не очень-то задирай нос да имей в виду, что я выиграл у тебя хлеб за сегодня и за завтра, а кашу за послезавтра.

— Как выиграл?

— Очень просто. Выиграл — вот и все. Понял?

Ребята засмеялись и отошли к окну. Они уже знали: если Матрос сказал «выиграл», так лучше отдай сам, потому что он не любит шутить. Он еще в порту был такой, благоразумнее не злить его. Алеша посмотрел на своего притеснителя, но не мог выдержать его твердого, жестокого взгляда. Неуклюжий, высокий, Матрос стоял, заложив руки в карманы. В его сутулых плечах, хоть они и казались какими-то обвисшими, чувствовалась сила. Вся его фигура будто говорила: «Не таких видали». Грудь у него была немного запавшая, глаза двигались под двумя буграми надбровных дуг, словно два жука с темно-зеленым отблеском. Клочья каштановых волос вызывающе пересекали его широкий лоб, будто перечеркивая какую-то затаенную мысль, пробивавшуюся сквозь них. Края губ гордо и презрительно улыбались: что там, мол, разговаривать с тобой, дохлым щенком из экономии...

Жила-была Россия,
Великая дер-жава... —

очень высоко и с вдохновением затянул кто-то из ребят, запрокинув голову и ударяя деревяшками, зажатыми между пальцев.

Алеша закрыл глаза, но горькая слеза покатилась по щеке и поползла ему в рот. Он вскочил с матраца и, не глядя ни на кого, выбежал во двор.

— Лишь бы нашлось место, где глину можно положить... Я покажу им... я покажу... — захлебывался он словами.

Двор был завален старыми плетеными бутылями, тряпками и другим хламом. Алеша осмотрел каждый уголок. Наконец он остановился возле заброшенной ржавой «буржуйки», которая, прижавшись к стене, стояла на трех покалеченных ножках, никому больше не нужная.

— Есть! — воскликнул он. — Еще и с дверцей... Не страшен ни дождь, ни что. Закрыл — и все.

Алеша взял кусок старой мешковины — уже несколько дней он припрятывал ее для глины — и вышел со двора на глухую улицу, а там бегом к морю.

«На Отраду! Говорят, на Отраде глина есть».

Еще издали он услышал и почувствовал шум неведомого ему величественного моря.

Море! Оно влекло к себе, как сказка, отдавалось фантастическим гулом в взволнованной душе Алеши. Он искал его глазами, бежал к нему с губами, пересохшими от волнения. Еще одну улицу, еще один угол большого дома...

И вот море ударило ему в глаза своим величественным блеском. Алеша остановился и зашатался от неожиданности. Направо висели, как тучи, тяжелые, головастые скалы, будто неведомой силой выброшенные на берег из морских глубин. Возле скал рождались зеленые пенистые холмы и уходили в неизвестность. Эти холмы возвышались на могучей спине моря... По морским просторам разгуливал порывистый ветер. Белые паруса раздувались и несли лодки через рвы и пропасти.

— Море... — прошептал Алеша бледными губами, подернутыми тонкой, сухой пленкой жажды. — Вот море!

И он, овеянный соленым влажным воздухом, с куском мешковины, как со знаменем, в худой руке, подбежал к скале и, задрав голову, стал рассматривать ее.

— Ого, какая ты высокая! А я все-таки взберусь на тебя. Вот с той стороны. Тут есть мох, он не скользкий.

Быстро и ловко, упираясь голыми коленями, карабкался он с уступа на уступ, хватался своими дрожащими пальцами за выступы серого камня, сдирал обветрившиеся пузыри скалы и лез вверх. Сердце, наполненное гордым восторгом, вдохновенно трудилось в обнаженной груди, а на его бронзовом лице светились смелость и радость.

«Я взбирался и на сосны, а они еще выше! Сосновая

смола так и пристает к подошвам. Ах, как она пахнет!»

И вот наконец он на горе. Там между скалами он увидел широкую выемку, в которой можно набрать глины. Хотя она здесь и перемешана с песком, но уж он знает, что тут нужно делать. Только так просто ее не наберешь. Ну, да это не беда, у него есть кусок железного обруча. А избавиться от песка — тоже можно придумать. Значит, нечего зря время тратить.

Но какое море! Вот! Ну и силища же... Земля против него букашка.

Задумавшись, он постоял еще немного, вглядываясь в горизонт, сливавшийся со стальным отблеском воды. Потом он бросился к выемке и стал быстро долбить железкой. И вдруг в нем вспыхнуло чувство горькой обиды.

— Я докажу вам! — простонал он упрямо, прижимаясь к скале. — Эта глина так тверда, что ее не ковырнешь железкой. Но я ее хоть зубами, а достану!

А глины здесь было совсем мало. Чтобы добыть несколько пригоршней, ему пришлось напрячь все свои силы. Горячий пот струился по его лицу, золотые волосы влажными прядями прилипли ко лбу. Пальцы налились и стали неподвижными, как грабли; острый песок впился под ногти и жег.

Алеша забыл о детдоме.

В багровых облаках проплыло над ним солнце, упало своей огромной, тяжелой головой на зеленые гребни и задвигалось по ним, большое, расколотое на огненные сегменты.

Тогда он провел своим рваным рукавом по лицу, расправил спину и радостно воскликнул:

— Есть! Ого, сколько ее тут!

Алеша сложил концы мешковины крест-накрест, связал их и взвалил узел себе на спину.

— На несколько дней хватит.

Как гордый победитель, он уперся в край скалы, напряг мускулы и прыгнул на другой уступ, потом на третий, на четвертый, легко и бесстрашно перескакивая с камня на камень, словно живая пружина. Вот

он уже у подножия. Лишь здесь он заметил, что уже наступил вечер.

— Вот это так! — удивленно пробормотал он. — Что же я теперь скажу заведующему? Да что б ни сказал...

Неудержимая фантазия захватила его, и он уже не думал о неприятностях, которые, может быть, ожидали его.

Из этой глины он вылепит человека, который вместе со своими сыновьями был обвит змеями... Можно будет сбегать на бульвар, посмотреть еще раз. Там стоит эта прекрасная работа. Или нет! Зачем змеи? Он сделает черта. Вот! Настоящего черта! Но чтоб черт был настоящий, какой же он должен быть? Эх, обида! Он никогда не видел черта. Однако он знает. Черт будет стоять на скале. Ветер... Рвет его одежду. Какое-то черное рядно висит на острых плечах. Тут плёсо... Словно он стоит в нем. Плёсо... Блестит вода, такая густая, черная, грязная, но блестит. И вот стоит черт, а ветер разрывает его одежду. А он стоит, вот так сложив руки. Нет, одна вот так. Протянул. А вторая... так: локоть вперед, подбородок опустил на грудь, а лоб, как вот эта скала, твердый и выпуклый. Вот так он стоит — даже страшно. Вот! «А что? А они говорили... Ну? А вы еще и дразнитесь: «Хундожник, хундожник»! Вот вам. Черт...»

Мысли, словно радостные мотыльки, живущие лишь секунды, порхали в его голове и вдохновением наполняли Алешино сердце. То вдруг они падали, словно натолкнувшись своими прозрачными крылышками на какую-то большую стену. Они падали, израненные, но все же с трепетом стремились к солнцу, которое садилось на горизонте, опустив свои хмурые, тяжелые веки. Когда уже совсем стемнело, Алеша подходил к городу.

Город залил его потоками электричества и обдал шумом вечерней суеты.

Казалось, море вышло из берегов, ринулось в освещенные каналы улиц и бурлит, шумит, бьется волнами о каменное дно, о широкий асфальт. И вдруг из глубины этого моря прорываются сирены автомобилей. Свет фар рассекает воздух, ударяет в глаза, ослепляет; вдруг

неожиданно прозвучит сигнал, зарычит за спиной автомобиль и тревожно, запыхавшись, промчится дальше.

Алеша зажмурил глаза. На первом же углу он бросился в сказочную толпу, сновавшую по тротуарам. Она ритмично, безостановочно понесла его на своих горячих волнах из переулка в переулок. А он, будто в состоянии блаженного транса, пробивался у них под локтями, задевал своим лицом нежный шелк чьего-то платья, раздувал широкие ноздри и пробивался дальше, отталкивая головой чьи-то упругие бедра. Пестрая, шумная толпа шелестела, смеялась, вздыхала, чавкала и кричала над его головой, а он, зажав закоченевшими пальцами края тряпки с глиной, пробивался вперед и быстро, нервно, растерянно искал затуманенными глазами знакомые желто-серые стены.

— Детдом! — воскликнул он вдруг, увидев через дорогу раскрытые настежь окна и сидящих на подоконниках ребят. — Так и есть, это наш детдом. А удачно я добрался!

Он выскользнул из толпы, перебежал через дорогу и очутился во дворе детдома.

Алеша тихо подошел к своей «буржуйке», спрятал там свое сокровище — тяжким трудом добытую глину. Прислушался. В доме спали; наверху, в последнем окне погас огонь — наверное, пришла воспитательница и потушила его. Он направился к двери и вдруг остановился.

На пороге мигала красная точка папиросы заведующего.

— Где же это ты скитаешься, малыш? — услыхал Алеша спокойные, суровые слова.

— Я... на берегу.

— Ты сегодня не обедал.

— Я ж... за глиной...

— И что, принес?

— Да! Я спрятал ее, а завтра буду лепить.

— Иди, — произнес завдетдомом, давая ему проход. — Иди, ложись на свой матрац и спи. Только без разрешения не ходи так далеко и не приходи поздно. А там посмотрел, что ты слепишь.

Завдетдомом протянул к Алеше руку, провел теп-

лой ладонью по его лицу и легонько похлопал по щеке.

— Может быть, ты и в самом деле будешь у нас скульптором. А теперь иди спать.

Алеша повалился на свой матрац. Сладкое чувство усталости пробежало по его телу. Его сердце наполнилось глубочайшей благодарностью к заведующему за его суровые, но добрые слова, и с этим радостным чувством он погрузился в глубокую тишину ночи.

На следующий день обитатели дома были взволнованы новостью. Первым во двор выбежал Пуговка — тот самый паренек, который набрасывал на голову Алеши матрац. В самом глухом уголке двора он увидел Алешу и щелкнул пальцами.

— Гля, Мамалыга! Что он там ковыряет? — сказал он, потихоньку, на носках, подкрался к Алеше, посмотрел через его плечо и удивился. Алеша, весь измазанный рыжими пятнами, разминал в руках кусочек глины, а лицо у него было такое напряженное и сосредоточенное, что даже Пуговка не осмелился испугать его. Он только засопел за спиной Алеши и насмешливо спросил:

— Ты, чё это будет?

Алеша, услыхал голос Пуговки, сразу же прикрыл грудью разбитую жестяную миску с глиной, расставил руки и крикнул:

— Уходи! Чего ты?

— Что это будет? — снова спросил Пуговка.

— Я же к тебе не пристаю, — сказал Алеша, и губы у него побелели. — Не пристаю же? Так и ты не лезь. Моя глина! Сам накопал!

— Тоже мне счастье! И я видел в одном месте, — ответил Пуговка и хотел ударить ногой по миске.

Но Алеша подставил плечо, и Пуговка чуть было не полетел.

Пуговка был задорный и крепкий мальчуган. Веснушки так густо усеяли его лицо, что оно казалось забрызганным зернами гречихи. Тонкие губы извивались двумя синеватыми пиявками на редких, неров-

ных зубах. Он все время ехидно подергивал ими. Красные, с ячменями веки быстро мигали, открывая серые глаза. Его нос напоминал круглую свинцовую пуговицу, крепко пришитую посередине лица и тоже заляпанную гречневой кашей.

— Ну, ты мне! Хундожник! — бросил он оскорбленно. — Не очень-то. А то Матрос тебе покажет.

Сказав это, он повернулся и пошел в дом. Через минуту Алешу окружили все ребята.

— Ты почему же, зараза, не показываешь? — спросил его Матрос.

— А на что?

Матрос немного подумал, потом буркнул:

— Разве нельзя?

— Ну да. Я еще только начал.

— А тогда покажешь?

— Тогда покажу.

Матрос снова подумал, нахмурил брови.

— Смотри же, шкет! Сегодня я выиграл у тебя кашу. А не покажешь, то узнаешь. — Потом он повернулся к ребятам и приказал: — Давай в городки!

Двор наполнился криком, стуком деревянных палок. Матрос бросал чаще других и покрикивал на Пуговку:

— Подай! Чего рот разинул?

Пуговка послушно выполнял его приказания. Алеша еще ниже склонился над глиной. Его пальцы нервно, быстро мяли кусок. Алеша был поглощен работой. Он снова забыл обо всем на свете, и на его напряженном лице засветилась радость.

День прошел для него совсем незаметно; он трудился до позднего вечера, а когда все уже разошлись по своим местам, он еще раз выбежал к своей «буржуйке», ощупал ее ржавые дверцы, словно хотел сделать их более крепкими, неприступными, чтобы уберечь свою работу от рук любопытных ребят.

Ночью он спал тревожно, что-то выкрикивал во сне, стонал, вскакивал и снова падал, ударяясь горячей головой о твердую соломенную подушку. И лишь только солнце выскользнуло краем своего золотого

ободка из-за горизонта, Алеша выбежал во двор и и снова принялся за работу.

Завдетдомом подошел к Алеше и присел возле него на корточках.

— Ох, — сказал он, — у нас совсем плохой вид. Глаза вон как глубоко спрятались под лоб. Так нельзя. Феня говорит, что ты этой ночью совсем плохо спал.

— Феня! — сердито буркнул Алеша. — Много она там понимает. Вот черт.

Алеша передал ему свою почти законченную работу и волнуясь смотрел на него. Завдетдомом внимательно рассматривал его работу: то отодвигал фигурку, то снова придвигал к себе, постукивал по ней пальцем; все большей радостью светились его глаза, расправлялись складки меж бровями. Одной рукой он схватил Алешу за плечо и, не замечая, что мальчик присел от боли, восхищенно воскликнул:

— Алешка! Это ты сделал? Сам? Ты сделал? — И он посмотрел на Алешу своими влажными глазами. — Откуда ты взялся? Кто тебя научил?

— Да... так... понемногу сам, — смущенно прошептал Алеша, и на его смуглой коже проступил румянец. — Оно еще не готовое. Вот видите, какое неудачное плёсо, да и эта одежда, свисающая с плеч... Тут еще много работы.

Заведующий с восхищением посмотрел на Алешу и снова сжал его плечо.

— Работай, Алеша, работай, говорю тебе! — И он, взволнованный, пошел к дому.

В детдоме начиналась жизнь. Просыпались его обитатели и наполняли дом первым утренним смехом и шумом. Жители его, как ветер, вылетели во двор, размахивая дырявыми штанами и щуря на солнце задорные глаза. Но к Алеше, по немому приказу Матроса, никто не подходил.

В тот же день Алеша закончил свою работу.

Первым, расталкивая толпу ребят, подошел к нему Матрос.

— А ну, шпана, осади! Сейчас сделаем кзамент, и если вещь подходящая, она будет моя.

Ребята засмеялись. Алеша побледнел и прижался к «буржуйке».

— Показывай, — сказал Матрос, шевеля руками в дырявых карманах.

Алеша отошел в сторону, и ребята увидели на «буржуйке» белоснежный лист бумаги, на котором стояла Алешина работа.

— Смотри! Какое... — вырвалось у всех.

Все замерли с радостными, удивленными лицами. В их глазах можно было прочесть вполне определенное желание — заполучить эту вещь.

— А плёсо! — воскликнул Пуговка. — Смотри, как блестит!

— Что же тут удивительного? — сквозь зубы процедил Матрос. — Ну, плёсо. Что из этого?

Пуговка забегал глазами и сказал:

— Канешно, плёсо малохольное. Я только так сказал.

Однако Пуговку никто не поддержал. Фигура черта, стоявшего на скале, глубоко поразила каждого из них. Черное блестящее плёсо, раскинувшееся у ног черта, было для них особенно непонятно и загадочно.

— А можно потрогать? С чего оно? А?

К «буржуйке» протянулся живой, подвижный, дрожащий сноп рук. Глубокое восхищение было написано на взволнованных лицах ребят. Им хотелось схватить эту фигурку и никому не отдавать ее. Никому. Матрос протянул руку через их головы и положил ее на «буржуйку». Потом он постучал пальцами по фигурке.

— Плёсо стеклянное, — произнес он басом.

— Как стеклянное? Как же оно туда вделано?

— Заделано под скалы, а под стекло подложено что-то черное, получается вроде как болото... Слышь, подари.

Алеша посмотрел на него, и его губы презрительно искривились. Широкий, некрасивый рот, который во время работы становился каким-то упрямым и суровым, теперь был замкнут неприветливой, беззвучной, презрительной улыбкой.

— Захочу — подарю, захочу — разобью.

Матрос пошевелил руками в дырявых карманах и отчаянно воскликнул:

— Дурак, мне ж на память!

— На память? — повторил Алеша. — На какую память?

— На хорошую, чудак.

— На хорошую? Я уже подарил.

— Мне? — быстро спросил Матрос и с жадностью протянул руку к фигурке.

— Чалому подарил.

— Заведующему? — воскликнули ребята.

— Врешь, ты не подарил, — мрачно бросил Матрос. — Ты только хочешь. А я тебе говорю: подари мне. Пойми, что мне нужно.

И Матрос вдруг засопел носом и стал часто и неровно дышать. Наступила тихая, напряженная пауза. В это время некоторые ребята громко вздыхали, а другие своими тревожными и хитрыми глазенками смотрели то на Алешу, то на Матроса.

— Да бери! — подбивал Пуговка Матроса. — Еще будешь его просить!

Но Матрос даже не шелохнулся, только смотрел исподлобья на Алешу и ждал. Алеша загадочно приподнял брови, будто подчеркивая этим свою затаенную мысль. Эта первая работа в детдоме была для него тяжкой ношей, Алеша вынашивал ее в своем сердце — и победил. Но что дает ему эта победа? Матрос завидует так, что готов возненавидеть его. А о чем думают другие ребята — неизвестно. Теперь он освободился от этой ноши, она стоит вот здесь, на «буржуйке», приковывая их взоры. Ребята до такой степени увлечены чертом, что начинают еще враждебнее смотреть на человека, который создал его. Куда его деть? Он думал, что было бы лучше всего, если бы он стоял на столе у заведующего детдомом. Потом он вылепит еще много других вещиц, но эта, первая, должна принадлежать тому, кто первый поверил, что Алеша сумеет, а не тому, кто. . . Матрос это понимает, по глазам видно. Однако он не уступит. Оба они — и он и Матрос — упрямые. Но зачем Матросу черт? Что он с ним будет делать? Может, разобьет.

— Слышь, Алешка, мне на память, — сказал Матрос, и его голос как-то странно задрожал, будто надломился.

Матрос сам заметил это и смущенно обвел глазами товарищей. Алеша вдруг посмотрел на него и взволнованно сказал:

— Бери, Матрос, черт твой!

Все вздохнули. Пуговка ехидно бросил Алеше:

— Что, сдрейфил?

Но Матрос обернулся к Пуговке, размахнулся и ударил его по лицу. Из носа потекла кровь. Пуговка остолбенел и заморгал глазами.

— За что?

Ребят это тоже поразило. Пуговка всегда слушался Матроса и исполнял любые его желания. За что же Матрос ударил его? Хотя всем было видно, что Алеша подарил Матросу черта совсем не потому, что испугался, Пуговке не нужно было так говорить.

— За что? — снова спросил Пуговка.

— Ты, гад, не спрашивай, а то еще дам! — ответил Матрос. После этого он несмело взял с «буржуйки» черта и посмотрел на Алешу. — И вон ту бумагу...

Алеша дружелюбно улыбнулся и подал ему белый лист бумаги. Матрос осторожно завернул в бумагу подарок и гордо понес его впереди себя. Пуговка втянул как-то голову в плечи, размазал рукой по лицу кровь и бросил Алеше:

— Ну, знай же теперь! — И он стиснул зубы, задрожал. От злости у него даже веснушки посинели, а лицо будто пеплом покрылось. — Теперь ты узнаешь Пуговку, я тебе отплачу, — прошептал он и отошел от ребят.

Ребята весь день говорили об этом событии. Заведующий детдомом удивился, когда узнал, что Матрос стал обладателем алешиного черта. Позже он вызвал к себе Алешу и спросил:

— Ты сам подарил?

— Сам, — ответил Алеша.

— Хорошо. Ты хорошо поступил...

Когда прозвучал последний сигнал и все разбрелись спать, Алеша долго лежал на своем матраце — не мог уснуть. Высокая фигура Матроса в лохмотьях стояла перед Алешей, Матрос не сводил с него глаз. Алеша переворачивался с боку на бок, зажмуривал веки, но не мог уснуть. Все его тело горело от возбуждения, и по нему пробегала тревожная дрожь.

То вдруг перед ним вставал Пуговка с разбитым носом и угрожающе скалил на него зубы. Алеша даже вскочил с матраца и закричал:

— Чего тебе?

В этот момент к нему действительно подошел какой-то человек.

— Это я, Алеша, — вдруг услыхал он голос Матроса. — Это я, Матрос.

— Матрос? Куда это ты? А Пуговка? Где он, его нет? . .

— Это я, Алеша, я так. Ты не бойся, я не дам. Пошел он! Может ты думаешь, что я разобью?

— Нет.

— Я никогда не разобью.

Матрос умолк, смущенно стоя перед Алешиным матрацем.

— А что ты держишь за спиной? — спросил Алеша.

— Это. . . тот. . . Может, тебе жалко, так я верну. Ты скажи по правде. Жалко?

— Матрос! Разбей, если не веришь.

В бледной полутьме был слышен счастливый смех Матроса.

— Зачем? — сказал он. — Теперь я уже знаю, что не жалко. — И он бесшумно отошел от Алеши, прижимая к спине завернутый в бумагу подарок.

Возле дверей соседней комнаты он нерешительно остановился и, повернув голову, прошептал:

— Я у тебя выиграл кашу. . . Ты не жалеешь?

— Нет, нисколько. Подумаешь, каша!

— Если хочешь, так я тебе проиграю свою кашу на сколько хочешь дней.

— Не нужно, Матрос. Мы пойдем вместе с тобой за глиной. Хочешь?

— Пойдем! Я знаю где.

По коридору осторожно прошел Чалый. Перед тем как пойти спать, он проверял, все ли ребята на месте.

Матрос упал на свой матрац и отвернулся к стене. Завдетдомом на носках прошел через комнату.

Все спали.

II

Спустя несколько дней Алеша с Матросом обнявшись выбрались через дыру в дальнем заборе и очутились на глухой улице.

— Знаешь, что? — сказал Матрос. — Пойдем, знаешь, куда?

— А куда?

— Пойдем сегодня в порт. Ты никогда там не был? Там есть такие пароходы...

— Большие?

— Если б ты знал... Вот ты увидишь, чего только там нет... Потом там арбузов, как навоза. Можно будет стянуть.

— А не поймают?

— Меня? — Матрос засмеялся, гордо повертев головой. — Молоды они еще меня ловить. Пойдем.

Солнце в конце лета брало свое. Оно раскалило мостовую, как большую неровную сковороду. Из порта разносился сладкий, густой запах арбузных корок, расплавленной смолы и свежей краски. На темной глади моря стаей гигантских селезней стояли неподвижные глазастые пароходы, омывавшие свои чрева в густой, как деготь, воде. В бескрайнюю синь небес протянули они свои стройные мачты, а среди них, будто в сосновом бору, чернели гигантскими дубами толстые, грозные по своей силе дымовые трубы. На концах провисающих, раскачивающихся канатов, казалось, лежала печать знойного и удушающего спокойствия. Только возле лодок, приплывших из щедрого Херсона и из обильных Алешек, хрипло перекликались загорелые люди, выгружая на берег огромные пирамиды арбузов. Звонкие, словно колокол, «туманы», кокетливые «рябчики», нежные «манастыри» и продолговатые белые «астраханы» тысячами летели с лодок в руки стояв-

шего ближе всех рабочего; от него снова упруго взлетали они вверх, летели в другие руки, до тех пор, покуда не падали на берегу рядом со своими товарищами, образовывая гору. Очень редко какой-нибудь из них, выскользнув из этого почти механизированного пути к берегу, ударялся о деревянный помост гавани и, крякнув, будто от наслаждения, выпускал из трещины густой красный сок.

Ребята прошли между рядов увлекательных пирамид. Ни один мускул не дрогнул на лице Матроса и не выдал его намерения.

— Не гляди на арбузы, — прошептал Матрос, бросая в сторону арбузов молниеносный лихорадочный взгляд. — Не гляди, Алешка, на арбузы, пройди мимо них так, будто бы они тебе без надобности. . .

Алеша и в самом деле не глядел на арбузы. Его взор блуждал среди диковинной сети островерхих мачт и черных высоких элеваторов, возвышавшихся над гаванью в виде грозных чудовищ с разинутыми пастями, собиравшимися проглотить людей, легкомысленно возившихся около них.

Вдруг эта величественная тишина была нарушена звоном огромной цепи. Одинокая лебедка в виде страшного железного паука, схватившего на хобот свою добычу, повисла в воздухе над палубой парохода.

Алеша вскрикнул и крепко впился своими пальцами в руку Матроса.

— Матрос, Матрос, смотри!

— Молчи, — ответил ему шепотом Матрос. — Молчи, я арбуз качу. Не засыпь.

Алеша посмотрел на Матроса, но тот шел ровно, подняв голову кверху и не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Алеша посмотрел ему под ноги и задрожал от смеха.

— С-с-с! — просвистел Матрос. — Тех-тех, не гляди мне под ноги, чудак!

Меж рваных лохмотьев его широких штанин послушно катился круглый большой «туман». То одна, то другая нога Матроса ловко подталкивала его вперед. Алеша умирал со смеху, но честно делал вид, что просто так себе смеется.

— Смейся так, будто от хорошей погоды, если не можешь сдержаться, — поучал его Матрос.

Но вскоре они отошли от той баржи, где к ногам Матроса сам «подкатился» арбуз.

— Теперь он наш, — сказал Матрос, поднимая арбуз, к которому прилипли по дороге кожица от помидора, песок, кусочек грязной бумаги и другая мелочь. — Сейчас мы его трахнем. Пойдем вон к тому челну, там будет спокойнее.

Они расположились под старой шаландой. Матрос торжественно взмахнул арбузом и ударил им по своему острому колену. Арбуз треснул и зигзагообразно раскололся на две равные части.

— Какую берешь?

— Мне все равно, — произнес Алеша.

— Бери вот эту, она с бараном.

И они, точно в миски, утопили свои веселые физиономии в сочные, лакомые половинки арбуза.

Матрос, надув губы, стрелял блестящими арбузовыми семенами, будто дробью из ружья.

— Ха! А ты говоришь — поймают! — говорил он.

— Я не говорил, а только спросил. Меня однажды батюшка поймал на яблоне.

— Ну? А ты же тогда как?

— Ничего. А вот батюшка, так, наверное, как. . .

— Что же ты сделал?

— Немного прикусил ему палец зубами, так сразу и выпустил.

— Ха-ха-ха! А прикусил как? Сурьезно?

— Кто его знает. Наверное, сурьезно, потому что батюшка даже выругался. А им же нельзя ругаться.

— Батюшке? Если прикусят хорошенько, то можно.

Мальчишки захохотали от удовольствия.

— Я когда-нибудь сделаю этого батюшку.

— Из глины?

— Конечно. Еще туда и кизяка подмешаю, тогда он не рассохнется. Знаешь, Матрос, о чем я думаю?

— А о чем?

— О художественном.

— Да, вещь подходящая.
— Я думаю, об этом, знаешь, с каких пор?
— Давно?
— Еще когда у нас там был один студент. Во рисовал! А лепил! Из гипса, брат. Он белый-белый, а высыхает в один миг. Я ведь грамотный.
— А студент сурьезный?
— А разве что?
— Да тоже барахло бывает.
— Сурьезный. Только вот какое дело, Матрос, не примут меня в такой одежде.
— В художественное?
— Угу.
— Да, робу нужно антилигентную, чтобы не было ни одной дырки, где не полагается.
— А это что? — Алеша развернул свои лохмотья и потрусил их. — Разве это одежда?
И они задумались. Матрос нахмурил брови и долго молча ковырял пальцем обгрызанную кожуру арбуза.
— Ты что-то надумал? — вдруг спросил его Алеша.
— Надумал.
— Матрос! Не нужно, слышишь, Матрос?
— Да чего ты, чудак? Я думаю о том, как можно заработать деньги на робу. Через два месяца ты будешь иметь такие шкары, бобочку, клифт, калёса и чепу[1], что и на Матроса плюнешь.
Алеша разволновался и поднялся на ноги.
— Смеешься? Так пошел ты. . .
— Ну, брось! Нельзя уж и пошутить, что ли?
— Так говори!
— Надо продавать твои штучки. Чудак! Ты не знаешь. . . Их покупают. Не меньше, как по пятьдесят копеек. А если бы продать такого черта, как ты сделал, так и рубль можно запросить.
Эта мысль так неожиданно осенила их, что ребята вскочили на ноги и стали громко спорить, разма-

[1] Брюки, сорочка, пиджак, ботинки и фуражка

хивая руками. Алеша никак не мог себе представить, что за свои «штучки» он может получить деньги. Кто их будет покупать? Где Матрос видел такое?

— Ну, так я докажу тебе! — упрямо крикнул Матрос. — Ты увидишь! У тебя есть глина? Сделай что-нибудь, ну, хотя бы того попа или черта опять. Лучше снова черта — его можно продать дороже, чем попа. Потом мы снова пойдем за глиной. Делай, слышишь, Алешка?

— Да, я буду делать. Для меня же самого практика. И неужели купят?

— Увидишь!

Матрос скрыл от Алеши еще одну идею. Он хотел сделать что-нибудь сразу, не откладывая в долгий ящик, чтобы «доказать». Но об этом он ничего не сказал Алеше. Он шел и улыбался сам себе. А то рассуждал вслух: «Вот увидишь, Матрос не обманывает. Матрос от себя урвет, но докажет».

Они спешили к детдому, охваченные общим желанием. Алеша крепко обнял Матроса за шею и почувствовал, что в его сердце зажглась глубокая любовь к человеку, которого он еще недавно считал своим самым лютым врагом.

Ребята проходили через базар. Площадь была битком набита крикливыми спекулянтами. Сорочки, брюки, пиджаки, ремни, железо — тысячи разных вещей переходили из рук в руки, словно в какой-то дикой пляске. Люди ударяли друг друга по рукам, кричали фуражечники, разносился аппетитный запах горячих пирожков, жареной рыбы, густого борща и разваренной кукурузы, громко хохотал граммофон, заливалась гармошка — и все это сливалось в одну сторотую страсть. В серых изменчивых глазах тысячной толпы вспыхнул тревожный огонек прибыли. Рундуки, облепленные настойчивыми женщинами, казалось, шевелились и жужжали, как осиные гнезда.

— Ка-а-мушки для зажигалок! — зазвенело в Алешиных ушах. — Камушки!

— Йод, бензин, скипидар, нафталин! Йод, бензин, валерьяновые капли! — прокричал кто-то высоким голосом и исчез в толпе со своим полным лотком.

— Матрос, где ты? Этот чертов рынок... — крикнул Алеша.

— Держись, Алешка, за меня. Я заметил кое-что интересное, — ответил ему Матрос. — Вон, вон, видишь? Вон там, где вакса.

Алеша посмотрел в ту сторону и задрожал от радости.

— Смотри! Продаются! — удивленным голосом произнес он. — Белые! Это из гипса. Пошли! Пошли, я погляжу.

— Сюда, мимо этого рундука...

Среди ламп, старых зонтиков, бюстгальтеров, зеркал и другого старья они увидели белые статуэтки Венеры. Алеша рванулся туда и потащил за собой Матроса. Они протиснулись сквозь гущу людей и остановились. Алеша забыл обо всем. Четкие линии Венеры заиграли перед его глазами.

Вдруг Матрос закричал не своим голосом:

— Украли! Алешка! Вот он стоит...

— Где? Что?

— Вон стоит мой черт...

— Твой черт?

Они, будто пораженные громом, вздрогнули. Среди белых статуэток действительно стояла желтая гордая фигура черта, протянувшего руку над черным плёсом. Его уже кто-то покупал, торгуясь с полной женщиной, стоявшей возле своего товара.

— Тетя, сколько стоит Мефистофель?

— Наш черт! — прошептал побелевшими губами Алеша. — Наш... как это случилось?

У него возникло страшное предчувствие. Матрос мрачно оглядывался вокруг, у него будто отнялся язык. Вдруг он заскрежетал зубами и крикнул на ухо Алеше:

— Пуговка! Он! Держи его!

Они вьюнами нырнули в толпу. Но, выскочив на угол той улицы, где Матрос ясно видел спину Пуговки, согнутую над «буржуйкой» с пирожками, они никого там не обнаружили. Пуговка, как в воду канул. А может быть, это вовсе и не он был...

— Почему ты подумал, что это Пуговка? — спросил Алеша.

Матрос ничего ему не ответил. Он заложил руки в карманы и молча быстро шагал к детдому. А на лице у него проступили красно-синие пятна. Он тяжело дышал.

— Ну, гад! Решу!

— Матрос, что ты хочешь делать?

— Уж я знаю, что сделать с этим подлизой.

Алеша повесив голову пошел за Матросом. Еще тревожнее стало у него на душе от слов Матроса. Что он хочет сделать? Пуговка и так злился, что Матрос «оскорбил» его в присутствии всех товарищей. А из-за кого все это? Пуговка раньше дружил с Матросом, а теперь Матрос дружит уже не с ним, а с Алешей. Разве Пуговка простит это? Да еще как «оскорбил» — кровь из носа пошла. Пуговка никогда не забудет, он не из таких. А теперь, если они снова поссорятся, хоть убегай из детдома. Вот тебе и художественное!

— Не твое дело, Алешка! Это уже мое дело, — глухо бросил Матрос. — Идем быстрее!

— А как ты узнаешь, что это он украл черта?

— Не беспокойся, от меня шкондра молдаванская, иконой шлепнутая, не скроется. Я его узнаю.

— Слышишь, Матрос, — тихо сказал Алеша, — пусть он сгорит, этот Пуговка. Разве ж я еще не слеплю?

— Не имеешь права! — резко оборвал его Матрос. — Что же он, зараза, кровь твою пьет? Я его знаю, сифилистика проклятого. Значит, ты трудись, а он инсплоакировать? В могилу пойду, но отплачу ему за черта!

— Ну чего ты так убиваешься за этим чертом?

Матрос остановился на минутку.

— Чего? Вопрос! Это мне на память — раз. А два — я бы, может, сам продал, а деньги тебе на художественное. Может быть, я так и хотел сделать. Почем ты знаешь?

Он сжал кулаки и пустился бежать.

Вскоре они вбежали во двор детдома. Матрос влетел в комнату и бросился к своему сундучку. Этот

сундучок он получил еще от дяди, последнего своего родственника. Отплывая в дальний путь, дядя подарил его Матросу вместе с замочком, а сам до сих пор еще не вернулся в родной порт. Матрос, владелец такого имущества, как покрашенный деревянный сундучок с замочком, мог благодаря этому гордиться не только своим характером, но и исключительным положением человека, у которого есть что-то запертое: ведь в нем будто хранится частица его самого.

Матрос сразу схватился за замок, но он висел отпертый, немного искривленный. Лицо Матроса страшно побледнело. Он дернул крышку. Сундучок был пуст, только клочки бумаги валялись на дне.

Алеша закрыл лицо руками. Он не мог смотреть на страдания своего друга, у которого перекосились губы, помутнели глаза.

— Матрос!

— Я пойду искать Пуговку, — ответил ему Матрос так спокойно, будто ничего и не случилось. — Пацаны, кто видел Пуговку?

Никто его не видел. Пошел, наверное, куда-нибудь с ребятами. Может, хватают гребешки. Матрос повернулся к окну.

— Идет! — крикнул он.

Он хотел было ринуться к двери. Алеша загородил его собой, будто спасая от беды.

— Матрос! Я прошу тебя...

Тот отстранил Алешу рукой, ждал. В этот момент целая ватага ребят во главе с Пуговкой ввалилась в комнату. Не ожидая, наверное, встретить Матроса, они демонстративно чавкали, доедая какие-то сладости, и весело хохотали.

Входя в дверь они пели:

Шли два уркагана
с одесского кичмана...

Пуговка кивком головы подал знак присутствующим, чтобы те подтянули. Ребята, откашлявшись, подхватили:

...с одесского кичмана
домой...

Довольный, Пуговка выступил вперед, вздохнул глубоко и взмахнул рукой.

Лишь только уступили... —

начал он второй куплет, закидывая назад голову, а ребята дружно подхватили:

в одесскую малину,
и тут поразила им
гроза...
Товарищ мой верный,
болят мои раны...
Болят мои раны
на груди.
Одна заживаить,
другая начинаить...
А третья открывается
внутри...

Ребята в обнимку постепенно вышли на середину комнаты. Кто-то закрыл глаза и с болезненным подъемом выкрикивал слова песни. Все покачивались в такт, напрягаясь, старались перекричать один другого. Песня лилась в окна:

Товарищ мой верный,
зарой мое тело...
Зарой мое тело
на бану[1]...
Пускай малохольные
лягавые смеются,
что я был геройский
уркаган...

— Эх! — дико закричал Пуговка. — Поддержи!

Россия, Россия
великая держава...
Она проиграла войну...

Ребята не понимали смысла песни, но их звонкие, высокие голоса слились в едином могучем порыве. Они старательно произносили каждое из этих слов, но про-

---

[1] На вокзале.

износили их только упрямо шевелившимися губами. Мысль витала где-то над словами, билась в волнах самой песни:

А белое знамя
в бою потеряла.
Теперь мы кимаем[1]
на бану...

Песня стихла.

Матрос отошел от стены, приблизился к группе ребят и процедил сквозь зубы:

— Потеряла? Разве?

Пуговка вдруг втянул голову в плечи, побледнел.

— Матрос?

— Пошти што.

Короткая тишина. Потом кто-то бросил:

— И отскочь. Чего ты?

Матрос без слов ударил его в пах — тот повалился на пол. Ребята подались в сторону. Пуговка вызывающе крикнул:

— А ну, ты! Еще и дерется! Жиган! Не думай, что ты атаман. Забудь!

Алеша в одну минуту понял все. Он подскочил к Матросу.

— Они хотят погубить тебя! Пускай только попробуют!

— Да, я был, есть и буду по гроб моей жизни! — крикнул Матрос Пуговке. — А тебя, Пуговка паршивая, я решу на месте. Пацаны! Совет дал нам помещение, но я не слыхал о таком порядке, чтобы ломать замок у своих и на рынке загонять их вещи.

— Как? Черта? — закричали некоторые.

— Докажи! Брехня! Пускай докажет! — кричали другие.

— Скуда ты знаешь? А может, он не крал?

Пуговка довольно улыбнулся.

— Был когда-то ты атаманом, а теперь из-за Мамалыги брехуном стал.

Что-то страшное произошло с Матросом. Он схва-

[1] Спим.

тил свой сундучок и стукнул крышкой перед глазами всей компании. Потом Матрос отодвинул потайной ящичек, и у него в руке блеснула финка. Он подскочил к Пуговке.

— Деньги!! За сколько продал черта?

Пуговка весь задрожал.

— Вуйди! Я не брал. Заве-е-е-е-ду-щий!!

Но в этот миг Матрос схватил его за грудки и, замахнувшись, ударил ножом. Пуговка ахнул, схватился руками за живот и повалился на пол. Из-под сорочки у него выпала пачка папирос «Яблочко». Кто-то закричал не своим голосом:

— А-а-а-а-й! Убил...

Поднялся невообразимый шум. Ребята бросились к заведующему. Кто-то пытался помочь Пуговке.

— Не трогай, — остановили того. — Пускай выходит грязная кровь.

Вошел побледневший заведующий. У него подергивалась щека.

— Карету!

Ребята уже побежали в аптеку звонить.

— Как это случилось, разбойники вы?

— Сгоряча. Матрос... Это Матрос сгоряча.

— Безневинно...

— Пуговка сам виноват...

Заведующий бросился к Пуговке. Тот лежал стиснув зубы и зажав пальцами рану.

— Больно тебе?

— Не очень... Только кровь из живота. Держите Матроса!

— Где Матрос?

— Дядя, его уже нету.

Заведующий посмотрел на ребят, не совсем понимая их ответ.

— Как это? А где же он?

Ребята пожали плечами. Кто ж это может знать? Раз нет, то, может, и удрал. Разве ему что?

В комнату вбежали три подростка. Волнуясь и размахивая руками, они кричали:

— Дохтура́ приехали!

Под окнами тревожно сигналила автомашина. Шофер затормозил. Врач скорой помощи и два санитара быстро вошли в комнату. Ребята были очень довольны этим неожиданным развлечением. С Пуговки сорвали сорочку. Врач осмотрел рану и покачал головой.

— В больницу! Кладите на носилки! — сказал он.

Пуговку наскоро обмотали бинтами и понесли на носилках в карету скорой помощи.

...Матроса нигде не могли найти. Он скрылся в ту самую минуту, когда ребята побежали к заведующему. Кажется, он первый и позвал его.

Алеша стоял, как немой, с невыразимой тоской в глазах.

III

После этого случая в детдоме наступила тишина. Происшествие так повлияло на ребят, что никто из них не мог толком рассказать, что они думают о судьбе Матроса. О существовании Алеши будто бы совсем забыли. По крайней мере имя его никто не вспоминал. Но это была только видимость, за которой скрывалось враждебное отношение к Алеше: ведь каждый из ребят так или иначе считал его виновником всех бед. Сам Алеша мучился, может быть, больше всех, считал, что он и в самом деле виноват во всем. Забившись в уголок двора, он целые дни в отчаянии просиживал за ржавой железной «буржуйкой». Порой ему хотелось закричать от нестерпимой боли, терзавшей его, когда он вспоминал рассвирепевшего Матроса. Тогда Алеша острыми ногтями впивался в тело, закрывал глаза и заставлял образ исчезнуть. Снова переживал он те чудесные минуты, когда они вдвоем ели в порту арбуз, так искусно добытый его бесстрашным другом. Алеша ничего не пожалел бы, чтобы узнать, где сейчас находится Матрос. Может быть, он сидит где-нибудь здесь, недалеко, голодный, и боится показаться людям, потому что те схватят его и запрут в тюрьму? А может быть, искалечил себя, убегая ночью, и теперь где-то умирает?

И еще сильнее тогда закипало в его сердце отвращение к Пуговке. Если бы не он, Матрос не совершил бы этого страшного преступления. После таких мыслей Алешу охватывал смертельный страх. Что с Пуговкой, ему неизвестно. Он лежал в больнице.

Тем временем, пока в дом приезжали люди с портфелями, что-то писали, допрашивали поодиночке всех ребят и больше всех Алешу, пока озабоченный, встревоженный и сильно побледневший завдетдомом ездил куда-то и возвращался еще более печальный, молчаливый и усталый, все жили этой необычной, лихорадочной жизнью. Кое-кто высказывал предположение, что Пуговка непременно помрет, что будто бы он истек кровью и что теперь врачи не могут его спасти, потому что у него воспаление брюшины. Ребята на это не очень-то обращали внимание и относились к судьбе Пуговки равнодушно. По правде говоря, большинство утверждали совсем обратное.

— Кто умрет? Пуговка?

— А раньше? Он еще Алешку-хундожника в гроб загонит. Вот только дыра у него зарастет, тогда увидите, — добавил Васька Глухой,

Алеша слыхал эти разговоры, но относился к ним совсем безразлично. Пускай приходит Пуговка, пускай дерется, пускай делает что хочет. Все равно Матроса уже не вернешь. Ему теперь было противно смотреть на куски глины, оставшиеся в «буржуйке». Если бы он не взялся лепить, так, может, ничего бы и не было. Теперь он, наверное, никогда уже не прикоснется к глине — ведь она сделала его таким несчастным. И после таких рассуждений еще большее, страшное горе сгибало Алешу. Тогда, на берегу моря, когда Матрос придумал такой увлекательный план, мечта о художественном училище, казалось, стала главным в Алешиной жизни. Теперь от этой мечты остались лишь разбитые осколки, которые только ранили его обманутое сердце. Он хотел бы вырвать их совсем, затоптать, чтобы заглушить боль.

Через несколько дней новая весть ворвалась в детдом и захватила умы его обитателей. Поздно вечером

пришел заведующий и, собрав всех ребят, тихо и кратко сказал им:

— Вот и расстаемся наконец. Завтра у вас уже будет новый...

Он опустил голову, хотел еще что-то сказать, но повернулся и молча пошел в свою комнату, заперся и до самого утра не гасил свет — складывал в чемоданы книги. Суровые и расстроенные, ребята тоже разошлись по своим местам. Чалого они любили, хотя прозвали его «макухой» за то, что порой не умел он «стребовать» с виновного или хорошенько отлупить кого-нибудь. За эту мягкость ребята немного посмеивались над ним, однако неожиданная весть поразила всех.

— Неизвестно, кого еще пришлют... Может, такого лягавого, что и не уживешься.

— А я убегу! — взволнованно говорили некоторые.

— Э, убежишь! Никуда не убежишь. Он тебя как запрет...

— Меня! Молодой еще. Если захочу, то и убегу. Лишь бы захотеть.

— А может, будет подходящий?

В эту ночь все шептались по углам, долго не спали; каждому будущее представлялось в самом неприглядном свете.

— Матросу что! Ему теперь наплевать. А вот нам... это уже другое дело, — шептал кто-то в самом дальнем углу.

— Он пырнул — и айда. А тут неприятности.

— Как ты рассуждаешь? Разве он хотел?

— А что ж?

— А то, что, может, этим ножом он сам себя пырнул, а не Пуговку. В сердцах человек может кто его знает что сделать. А вот Алешка, рыжий черт, виноват. Зачем довел человека до такого?

Алеша тоже не спал, слыхал этот разговор, и ему становилось легче. Матроса не осуждают, его оправдывают. А о себе он не беспокоился.

Утром он встал раньше всех и побежал на глухую улицу. Ни души. А что, если бы вон там, из-за стены, вдруг показался Матрос? Но его не было. Даже похо-

жего никого не было. Алеша стоял, прижавшись к каменному забору. Он забыл обо всем на свете. Взошло солнце, залило дома багровым светом, поднялся туман. Прогремели первые трамваи — люди спешили на работу. В это осеннее утро трамвай за трамваем проходил по росистым, холодным рельсам, а рабочие все прибывали и прибывали. Где-то далеко заревела сирена, поднялся черный дым. Люди, толпясь, молча лезли в вагоны. Алеша вспомнил экономию. Там всегда приходил Сидор в сапогах-«дудочках», свистел и бранил рабочих, хотя они очень быстро выходили из казармы. Рабочие там спали на нарах, а он — в уголку под нарами. Воздух был ужасно тяжелый. Потом рабочие сожгли казарму. Далекое зарево воспоминаний проплыло перед Алешей, и снова над ним нависла черная туча будущего.

В это время он услышал разговор за забором. Он вернулся в детдом и увидел, что заведующий ходит с новым человеком, показывает ему двор. «Новый», — подумал Алеша. В первую очередь ему бросились в глаза жесткие, поднятые кверху усы и большие, будто каменные челюсти. Ребята группами стояли в стороне и, переглядываясь между собой, время от времени высказывались.

— Вот морда!

— Что морда, — шептал другой, — а нос!

— Я видел у сапожника такую самую колодку. Она истыкана шпильками, как у этого нос! — прыскали ребята, закрывая руками рот.

Это был новый завдетдомом. Алеша с сожалением подумал о себе, о Чалом и обо всем, что произошло в этом доме. Он отошел к стене и приник к ней лицом. Чалый, обойдя двор и показав новому каждую мелочь, остановился возле Алеши:

— Ах ты, художник златокудрый, — сказал он. — Ну, прощай.

Потом Чалый бросил новому несколько слов:

— Берегите его, если сможете.

А новый ответил ему:

— Знаем, что беречь и как. Гонять лодыря не

дадим. Мы этот бандитизм искореним, не беспокойтесь.

Алеша посмотрел на Чалого долгим, печальным взглядом. Ребята же отнеслись к этому заявлению поразному, но у большинства из них на лицах было написано, что они еще очень сомневаются, как именно он «искоренит».

Осмотр дома вскоре был закончен, и Чалый уехал навсегда. За ним с глухим скрипом закрылись старые ворота, порвав все живые нити, которые связывали его с ребятами. Этот скрип болью откликнулся в Алешином сердце. Он не в силах был войти вместе с товарищами в дом, чтобы послушать, о чем будет говорить новый. Он остался посреди двора, а потом, когда все ушли, наполняя шумом темный коридор, подталкивая друг друга и подозрительно поглядывая на нового «дядю», Алеша вышел на улицу и, свесив голову на грудь, побрел в порт. Может быть, Матрос хоть там кому-нибудь сказал, куда он ушел? Может быть, кто-нибудь из бывших Матросовых приятелей подойдет и подаст ему весточку? . .

Но его надежды были напрасны. Алеша не встретил никого, кто мог бы хоть слово сказать о его друге. Поскитавшись между рундуками с помидорами, сухими колбасами, подсолнухами и другими недоступными ему лакомствами, он решил было вернуться в дом. Печальный и усталый, он стал подниматься вверх по узкой улице, покрытой угольной пылью и арбузными корками. В этот момент кто-то неслышно подбежал к нему сзади и слегка коснулся его ног. Алеша быстро обернулся. Перед ним стоял пес. Размахивая опущенным хвостом, он глядел на Алешу своими слезившимися, добродушными глазами. Его разодранное ухо свисало одним куском на левый, воспаленный глаз. Худой живот, казалось, совсем присох, вместо него была одна страшная впадина. Однако при виде Алеши пес старался приободриться и всеми своими движениями показать, что его дела не такие уж безнадежные. В первую очередь он поинтересовался, не завалялась ли случайно в Алешином кармане какая-нибудь ко-

рочка. Он ничего не обнаружил, но настроение у него не испортилось. В первую минуту Алеша не знал, что сказать, и только радостно повторял:

— Черный! Так ты живой? ..

В ответ ему пес взмахнул своим разодранным ухом и сдержанно заскулил. Тогда Алеша схватил его за морду и прижал к своей груди. Так они стояли какую-то минуту. Потом Алеша выпустил Черного, и они вместе направились к детдому. Шли они далеким, окольным путем. Алеша перебирал худыми пальцами жесткую, сбитую в комки шерсть своего друга, рассказывая ему тем временем о последних событиях в своей жизни. А Черный, прихрамывая на подбитую ногу, внимательно слушал Алешу, мигал воспаленным глазом да изредка лизал его руку. И вот на углу маленького переулка, когда Алеша говорил псу самые горькие слова о Пуговке и Матросе, на них глупо, жестоко и неожиданно напали. Неизвестно откуда над Алешиным ухом просвистел камень, и в тот же миг Черный подскочил и отчаянно завизжал. Камень угодил в худые, торчавшие ребра собаки и упал к ногам Алеши. Черный, словно от врага, отскочил от Алеши и оскалил зубы.

— Черный! Это не я! — крикнул Алеша. — Это не я... Иди сюда!

Пес вначале недоверчиво рычал, потом осторожно стал приближаться к нему. В эту минуту Алеша заметил за углом Ваську Глухого, товарища Пуговки. Васька следил за Алешей враждебным взглядом. Он держал в руках еще камень, которым целился в Алешу.

— Глухой! Что ты делаешь? — бросился к нему Алеша, тоже подхватив камень. — Только тронь! Этот камень будет у тебя в зубах.

Он замахнулся, но Глухой, зло сверкнув на него глазами, скрылся за домом. Оттуда он погрозил Алеше кулаком и убежал.

— Рыжий хундожник! — услыхал Алеша из-за дома. — Погоди, я тебе покажу! Поклон тебе от Пуговки! Мамалыга!

Алеша гневно сжал губы и долго смотрел в ту сторону, куда убежал Васька Глухой. Пес улегся у его ног.

А с моря подул влажный, тяжелый ветер.

IV

В детдоме в это время происходило собрание, если то, что там творилось, можно назвать собранием. Новый заведующий — ребята уже успели прозвать его Тараканом, — позвав всех в помещение, знакомился со своими будущими воспитанниками. Расспросив каждого, как его звать и откуда тот пришел в детдом, он подносил к лицу мальчугана закопченный табаком палец и говорил:

— Смотри мне! Сегодня ты здесь, а завтра фить! Так и зашумишь на улицу. Только попробуй мне что-нибудь сделать! Бандиты!

— Таракашка! — выкрикнул кто-то из толпы.

— Случай с Пуговкой вам так не пройдет, я найду виновного.

Только сейчас все заметили, что Алеша куда-то исчез. Таракан еще больше нахохлился. Он стал говорить о страданиях Пуговки, который от ножа босяка и преступника может безвинно погибнуть.

Ребята только посмеивались. Это на них никак не действовало.

В это время в помещение вошел Васька Глухой и, не заметив Таракана, крикнул ребятам:

— Шпана! Пуговка выздоравливает. Пустяковая дыра. Только сейчас от него.

Ребята уже забыли о Таракане и в один момент обступили Глухого.

— Бре! Как же тебя пустили?

— Что он говорил? — забросали его вопросами.

— Кого? Меня бы не пустили? — говорил Глухой. — А раньше?

К ребятам подошел Таракан и подробно расспросил у Глухого о здоровье Пуговки. Оказалось, у Пуговки был поврежден только верхний покров кожи, ему ничто не угрожает и он вскоре вернется в детдом. Таракан

покрутил усы и вышел. Ребята еще плотнее окружили Ваську. Довольный всеобщим вниманием, Васька Глухой стал подробно рассказывать, как он прошел в больницу, как разговаривал с «дохтурами» и как его пустили к Пуговке:

— Прихожу, а они, гады, в белом, все дохтура. «Мне, говорю, надо к товарищу Пуговке». — «А ты кто такой?» — «Я, говорю, Васька Глухой из интерната. Заведующий послал». — «Надевай, говорят, халат, раз ты из интерната». Я надел и как вошел к Пуговке, так он даже не узнал меня. «Васька Глухой, говорит, или старший дохтур — не узнаю, говорит, не разберу». Ну, тут, конешно, поговорили. Я сказал про Матроса. «Передай, говорит, в таком случае поклон хундожнику, я с ним, рыжей заразой, расправлюсь». А тут, обратно, мне и Алешка попался на глаза. Иду назад, а он с псом — идет и разговаривает с ним, будто с корешком.

— Да ну? А ты?

— Слушаю. Иду сзади. Потом вижу — Алешка будто рехнулся, с псом разговаривает. Ах ты, думаю, зануда! Да камнем как свистну!

— Его?

— Да в него не попал. Как раз пса зацепил. Ух же, и скулил, проклятый!

— А если бы тебя? — спросил кто-то Ваську Глухого. — Ты бы не скулил?

— Пошла, рваная! — ответил Васька сквозь зубы. — Без тебя знаем, кого бить. Хочешь — так дам и тебе.

Вообще в его тоне чувствовалась властность, которую он будто приобрел во время свидания с Пуговкой. Это немного удивляло ребят, но потом, поразмыслив, они пришли к выводу, что после Матроса Пуговка первый, кто будет, наверное, за атамана, поэтому Васька Глухой, корешок Пуговки, и не боится так разговаривать.

Когда они говорили об этом, в комнату вошел Алеша. Он молча наклонился над своим местом, вытащил из-под матраца кусочек засохшего хлеба и снова вышел.

— А смотри, — сказал Глухой, — это для собаки. Сейчас он будет говорить с ней. Посмотрите.

Все подошли к окну. Алеша вышел за ворота и бросил Черному хлеб. Потом, махнув ему рукой, он вернулся в дом.

— Нет, почему-то не разговаривает... — смущенно процедил Васька.

В эту минуту Алеша вошел в комнату и, проходя мимо Глухого, бросил ему:

— Ты мне камнями не швыряйся. А то узнаешь!

— Хе! Неужели? — вызывающе ответил тот.

— Вот, сказал тебе — и не швыряйся.

— А кто мне воспретит?

— Тогда увидишь.

— Когда это тогда? Как бы поскорее! Нет, вы посмотрите на него, какой нашелся! Он мне воспретит!

Алеша стиснул кулаки и, побелев, подступил к Ваське.

— Не трогай собаку! Не трогай! — закричал он не своим голосом.

— Ну что? Не говорил я? — захохотал Глухой. — У него не все дома. Да я имею право бить собаку какую захочу! — И он, отвернувшись от Алеши, обратился к ребятам: — Видели? Хе! Нашелся какой!

Алеша взмахнул кулаками над его головой, но ребята стали между ними, и он с подавленным криком отошел к стене.

Зазвонили на обед.

Все полетели за своими порциями, обгоняя друг друга. Алеша, пошатываясь, пошел последним.

. . . .

В коридоре стоял невероятный шум. Ребята сбились возле дверей и о чем-то спорили, размахивая железными мисками. Алеша остановился возле ребят. Вдруг кто-то крикнул:

— Милиция!

Шум на минутку утих. Все увидели, что к Таракану в комнату зашли два человека в шинелях и красных фуражках. Один из них держал портфель под мышкой. Алеша почувствовал, как у него вдруг подкосились ко-

ленки. В этот момент Васька Глухой, пересиливая страшный шум в коридоре, выкрикнул:

— Наверное, Матроса поймали! Будет знать теперь, паршивый жиган!

Все стихли. Алеша, воспользовавшись этой неприятной тишиной, спросил у Глухого:

— Откуда ты знаешь? Может быть, и не поймали.

Но Васька даже не ответил. Он подбежал к двери и стал подслушивать.

— Канешно поймали, — прошептал он ребятам.

Однако ребята не очень-то разделяли его радость. Наоборот, они враждебно направились к дверям и кто-то, услыхав отрывки разговора Таракана с милиционером, сказал:

— Поймали. Ха! Пускай держат. Черта они скорее поймают, чем Матроса!

— Что там слыхать? О чем они говорят? — спросил Алеша.

— Придметы расспрашивают. Да Матрос совсем не такой.

Открылась дверь, ребята расступились перед милицией.

— Возьмите кого-нибудь из них — они сразу опознают, — обратился один из милиционеров к Таракану.

Но ребята стояли насторожившись. Ни у кого из них не было ни малейшего желания куда-то ехать и опознавать Матроса. Тогда вперед вышел Васька Глухой.

— Я опознаю, — сказал он пренебрежительно. — В чем дело?

Таракан и милиция взяли с собой Ваську и поехали. Кто-то крикнул вслед Глухому:

— Лягавка! Жаба!

Все помрачнели и, недовольные, разошлись по своим уголкам. На дворе начал накрапывать дождь, над домом печально опадали кленовые листья.

Кто-то начал тихо, задумчиво:

А в больнице три сестрицы
да все черноглазки..

Потом сделал длинную паузу, вздохнул, подумал и, вместо того чтобы пропеть, тихо произнес слова второй части куплета:

Одна колет, втора — режет,
третья — перевязки.

Алеша лежал на своем матраце и чувствовал, как руки у него дрожат от невыносимого жара. Он почти терял сознание от одной мысли, что Матроса могли поймать. Чтобы только повидаться с ним, Алеша хотел поехать туда. Но какой-то непонятный страх мешал ему.

Так, в молчании и тревоге, все ждали до вечера.

Неужели поймали?

. . . .

Васька Глухой молча, ни на кого не глядя, вошел в комнату. Прошло несколько минут. Потом кто-то недружелюбно спросил:

— Узнал?

Глухой тоже не сразу ответил. Было видно, что ему тяжело говорить о виденном. Он промолвил едва слышным, хриплым голосом:

— Неизвестно. Какой-то пацан. Нельзя узнать. Вытащили из-под поезда.

Снова все долго молчали, и опять кто-то тихо спросил:

— Мертвый?

— А что же, живого тебе из-под поезда вытащат? — мрачно произнес Глухой. — Вся кожа даже содрана.

Алеша дико вскрикнул и стал биться головой о пол. Глаза его закатились под лоб. Он заскрежетал зубами, сведенными пальцами схватился за грудь.

— Алешка! Смотрите, что он делает! Алешка! — закричали ребята и с ужасом отскочили от него.

У Алеши начался тяжелый нервный припадок.

— Матрос! — кричал он не своим голосом. — Ой, Матрос... Держите... Вот он катит арбуз... Он, черт, черт!..

Долго бился в припадке Алеша. Все молча, с ужасом смотрели на него. В комнате совсем стемнело.

V

Когда произошел несчастный случай с Пуговкой, Матрос в одно мгновение понял, что теперь ему в детдоме оставаться нельзя ни минуты. Он посмотрел на Алешу, обвел глазами комнату, будто просил прощения, и скрылся за дверью. Добежав до комнаты заведующего, он крикнул ему, что с Пуговкой случилось несчастье, а когда тот выскочил на крик, Матрос был уже на улице.

«Куда же теперь?» — подумал он, когда детдом был далеко позади.

Поразмыслив, Матрос решил, что в детдоме сейчас все столпились возле Пуговки и забыли о нем. Значит, у него есть еще время не спеша обдумать создавшееся положение. Перспективы были не очень ясные. Приближалась осень, через неделю-две начнутся дожди, холод и слякоть. Пускаться в далекий путь было небезопасно. Но оставаться здесь, в этом городе, еще опаснее. Пока Матрос жил в детдоме, он растерял прежних приятелей, и ему просто не к кому было обратиться за дружеским советом. Однако стоять так на улице тоже нет никакого смысла. Он завернул в глухой переулок и быстро направился в порт. Здесь каждый старый рундук, каждый камень и каждая щель в каменной стене были ему хорошо знакомы. Здесь он мог укрыться до вечера.

Подбежав к старой шаланде, под которой совсем недавно они сидели вместе с Алешей, Матрос не захотел искать более укромного места. Он повалился на хрупкий песок. Думать он мог только об одном: «А что же теперь будет с Алешкой? Пуговка непременно выздоровеет и тогда выместит свою злость на Алешке. Но пусть только посмеет! Да разве я скоро вернусь в этот город?» О том же, чтобы убежать этой ночью из города, решение сложилось как-то само собой.

Так он пролежал до тех пор, пока в порту остались одни лишь гудевшие паровозы, сновавшие по рельсам между каменных заборов к товарной станции. В небе взошли золотые звезды и, словно далекие огни семафоров, замелькали на неведомых станциях. Тогда только

Матрос вылез из-под шаланды. Кажется, в это время должен уходить на север поезд. И без колебаний, надвинув на глаза свою дырявую фуражку, он пошел к вокзалу.

Он обошел каменные здания вокзала и в полуверсте от них перелез через холодные рельсы, чтобы пройти между вагонами. Вдруг он заметил, что под высокими платформами с сеном кто-то двигается. Осмотревшись вокруг, нет ли поблизости какой-нибудь опасности, он осторожно приблизился к группе. Так и есть! Это свои! Стал прислушиваться — свои! .. Несколько хлопцев, наверное из порта. Даже голос чей-то знакомый услышал. Не Сенька ли Червяк? Совсем такой голос... Матрос помнил его еще с той поры, когда они вместе чистили котлы на пароходах. Червяк был смелый кореш! И Матрос вспомнил недавнее прошлое. Вот они вдвоем с Сенькой, выбравшись из котла чернее сажи, летят, поблескивая глазами, по сходням на пристань. Они пробегают в толпе людей, цепляя боками не одну фигуру в белом одеянии, оставляя на их душистой одежде следы своего пота и угольной пыли. Фигуры поднимают крик, призывают стражника, где-то вдали раздается свисток, а они уже летят с высокого мола в густую фиолетовую воду, оставляя за собой на поверхности круги нефти. Играя в воде, они подплывают к второму молу, а позади удивленная толпа. Их черные, как у дельфинов, спины блестят на солнце, и ребята снова ныряют в воду.

— Червяк! — тихо окликнул Матрос. — Это ты, Червяк?

Группка зашевелилась. Некоторые ребята бросились врассыпную. Матрос стоял на месте и подавал им знаки рукой. Тогда один подошел к нему. Сделав несколько шагов, парнишка вдруг остановился, потом стрелой бросился к Матросу.

— Жиган! Матроска! ..

— Тише! — остановил его Матрос. — Чего панику наводишь? А это кто с тобой?

— Наши. Из порта...

— Куда держите направление?

— Думаем, в столицу.

Матрос от радости схватил Червяка за шею.

— Конпания! — прошептал он взволнованно. — Где наш поезд? Готов?

— На первом путе.

— Лезем! — скомандовал Матрос.

Червяк слегка цыкнул. Ребята подошли к ним, их было девять человек вместе с Матросом. Они подсчитали — получилось как раз по три человека на собачий ящик.

— Пошли к паровозу, а там под вагонами. Покуда первая пара не сядет, остальные ни с места, лежать спокойно. Ящики не в каждом вагоне есть. Искать нужно с правой стороны.

Червяк вытащил из кармана кусок скрученной проволоки и разделил ее на три равные части.

— Залезайте в ящик и запирайтесь с внутренней стороны, — объяснил он тем, что помоложе. — Дырочку пробейте гвоздем. Гвозди есть?

— Есть, — отозвались ребята.

Они легли на землю между рельсами и, сдерживая дыхание, бесшумно поползли. Паровоз обдал их горячим паром, у ребят, что помоложе, задрожали поджилки, забилось сердце.

— Мы с Червяком лезем последними, — сказал Матрос. — Забирайтесь в первые ящики, а мы себе найдем.

Уже прозвенел первый сигнал. Возле поезда шумели подошвами люди, стучали проводники, проходили с фонарями кондуктора. Первые трое ребят ползли под вагонами, поглядывая из-под колес в обе стороны. К их счастью, под третьим вагоном оказался ящик. Прошло несколько минут, тогда двинулись еще трое. Матрос, Червяк и Маслик, который был вместе с ними, подползли к первому вагону.

— Тут можно и на рессорах, — прошептал Маслик. — Смотри: сначала на ось, потом на трубу, а потом на палку. Тут и спать можно.

Матрос промолчал, а Сенька стал возражать против такого плана:

— Во-первых, если уснуть, можно свалиться. А если

не свалишься, все равно поймают. «Соскакивай», скажут. Нет, нужно искать ящик.

В этот момент о колеса первого вагона застучал молоток.

— Проверка, — шепнул Червяк.

— Тихо! Маслик, не шевелись!

— Я влезу на ось, тут меня не видно будет.

— Не лезь, сиди смирно.

— Да, не лезь! — прошептал Маслик. — А если увидят? Я лучше на ось.

— Говорю, сиди! Он не заглянет. Ш-ш... Вот подходит. Не лезь...

Но Маслик уже взобрался на ось и замер там, прижавшись спиной к колесу. Матрос и Червяк остались под вагоном и словно прилипли к земле. Ни звука, ни дыхания. Шаги приблизились. Ребята видели только сапоги, фонарик с зеленым стеклом и молоток. Ни рук, ни туловища. Эти вещи сами плыли вдоль вагона. Матросу очень хотелось поднять голову и посмотреть на их хозяина. Он даже приподниматься стал, но Червяк впился ногтями ему в шею и прижал к шпале. Фонарик приблизился к колесу, молоток качнулся и ударил. Глухой, нечеткий звук. Тогда молоток бьет второй, третий раз. Молоток повисает на мгновение в руке, фонарик опускается, и Матрос с Червяком увидели перед собой большие черные руки.

— Что за напасть! — пробормотал кто-то возле вагона.

Червяк прикладывает губы к уху Матроса и шепчет:

— Кажется, засыпались. Маслик, черт, не послушался. Слышишь, не тот звон...

А фонарь уже стоит на земле, рядом с ним падает молоток, и вдруг под вагон заглядывает какая-то усатая физиономия. Она всмотрелась, а затем усы задвигались и оттопырились.

— Это что такое?.. А ну-ка, вылезайте, господа пассажиры! — произносит усатый мужчина, и в доказательство того, что он не шутит, под вагон протягиваются две мускулистые руки, в мазуте, с тряпкой.

— Врассыпную! — сказал Матрос.

И они с Червяком бросились из-под вагона — один

вправо, другой влево. Червяк проскочил почти меж ног усатого человека; не успел тот оглянуться, как Червяк уже исчез где-то под другим вагоном. Матрос же проскочил вперед, решив, что ему лучше всего будет залезть под паровоз. Маслик остался лежать на оси, только подвинулся ближе к середине. Усатая голова исчезла, и Маслик только слыхал, как уже сверху что-то бубнили по адресу его товарищей:

— Пассажиры! Вишь, какое они передвижение нашли... — бормотал человек.

Потом молоток еще раз ударил по колесу, и осмотрщик, удовлетворенный этим звуком, поплыл с фонарем дальше. Раздался второй звонок. Стук молотка быстро удалялся к хвосту поезда. Перрон сразу зашумел, зашаркал; шум усилился, последние пассажиры спешили добраться к вагонам. Под Масликом что-то проползло по шпалам.

— Кто это? — спросил Маслик.

— Я, Матрос. Полезли?

— Не хо... Буду тут. Может, еще и не найдем ящика.

Матрос полез дальше. Под третьим вагоном он зацепился головой за ящик. Оттуда послышался шорох. Он постучал три раза, как условились. Ответили: «Полно». Матрос полез дальше. Он миновал уже несколько вагонов, а ящика не нашел. Кажется, скоро должен быть хвост поезда... Его охватила тревога. Ударил третий звонок... Он поднялся на локти и как только мог увеличил скорость. Наверное, под последним вагоном есть ящик. А если нет? Что, если нет? Тогда он останется лежать между рельсами, как только пройдет поезд, его тут же схватит зеленая фуражка... В этот момент раздался свисток кондуктора, а следом за ним гудок паровоза, и весь состав поезда напрягся и вздрогнул, как страшный зверь, который собирается прыгнуть на врага. В голове Матроса промелькнула мысль: «Ящик открывается сбоку, вскочить в него из-под вагона никак нельзя, тем более на ходу поезда...» Он прошмыгнул между колесами и выскочил на перрон.

Поезд тронулся и стал набирать скорость, к Мат-

росу приближался последний вагон. И Матрос, пригнувшись к перрону, увидел благословенный ящик, дверцы которого еще не успели закрыться за последним «пассажиром». Матрос сполз с перрона и в тот момент, когда за его спиной раздавался уже стук каблуков человека в зеленой фуражке, ухватился пальцами за дверцы ящика и с разгона нырнул туда головой.

...Поезд, набирая скорость, шел уже полным ходом, а у Матроса сильно, с перебоями стучало сердце, будто в такт с ударами колес на стыках рельс. Под ним кто-то шевелился, стараясь освободиться от живого груза.

— Сенька, ты? — спросил Матрос.

— Ну да. Ты малость придушил меня.

— Ничего, поместимся, — успокаивал он Червяка. — Тут есть еще кто-нибудь?

— Даже двое. Будет немного тесновато. А Маслик где?

— Маслик на рессорах. Не захотел лезть.

— Чертова морда, компанию разбил! — с сожалением буркнул Червяк.

Станция осталась уже позади. Поезд на бешеном ходу врезался в степные просторы, и ветер со свистом шумел в темноте ночи. В щель собачьего ящика врывался прерывистый свист, будто незримые насосы нагнетали туда мрак. И в ящике еще явственнее ощущалось биение четырех сердец, еще больше сгущался воздух и усиливался неслышный вихрь угольной пыли. Она поднималась со дна и стенок ящика, покрывала пересохшие губы этих смелых путешественников, пробиралась в легкие, в уши, в нос, в кожу, оседала на влажных волосах и лохмотьях. Ни один кондуктор не мешал ребятам кашлять и чихать от этого воздуха, распиравшего их немного тесноватое «купе», в котором «хватит уже возить буржуйских собак», как справедливо заметил кто-то из четырех «пассажиров». Они чихали и с усердием проклинали того умника, который задумал как раз накануне их путешествия перевозить — и, наверное, зайцем — уголь в этом ящике.

— Матрос, ну, а Маслик? — снова спросил Чер-

вяк. — Дурак, не послушался. Там можно сорваться. А, ребята?

Все думали то же, но молчали. Как узнать о его судьбе? Ведь если вылезешь на станции, рискуешь там и остаться. А отстал от коллектива — пропал. Горе объединяет всех, это они хорошо познали на практике. А один пропадешь. Тревожно стало на сердце, когда Матрос сказал, что Маслик остался на рессорах. И каждый думал о том, как бы разузнать о нем. Найти его и заставить сесть в ящик. Но что придумаешь?

Поезд летел, отстукивая версты, останавливаясь на несколько минут, чтобы перевести дух, наполнить пылающую утробу водой и снова ринуться в черное пространство ночи. Кое-кто из ребят засыпал на полчаса, согнувшись в три погибели, подчинившись неизвестной судьбе, которая может предать, а может и довезти благополучно в столицу, где, говорят, есть чем «поживиться» и можно будет кое-как перезимовать.

И вот Матрос, который все время не находил себе места и не давал покоя товарищам, вдруг заявил, что он хочет выпить хотя бы глоток воды. Но во время «погрузки» ребята не сумели полностью осуществить план, разработанный Червяком. Вместо того чтобы сесть в этот ящик, где они сейчас спокойно лежат, Ромка Свистун сел в какой-то другой. У него была бутылка с водой. Теперь там у них целых две бутылки — вторая была у Метелика, — а здесь нечем даже покропить душу. Матрос заявил, что жажда мучит его чем дальше, тем больше. Ему уже казалось, что внутри у него горит свеча, язычок пламени облизывает горло и припекает с каждым разом все сильнее и сильнее. Вскоре огонь заполнил всю его грудь.

— Не вытерплю, — сиплым голосом сказал Матрос.

— А что же делать? — спросили его. — Если ты вылезешь отсюда, так тебя сразу сцапают. Нет, поезжай уж так. Глотай слюну.

— Да, поезжай! А если слюны нет? Рот сухой, как сапог. Вот дай палец, дай сюда, потрогай, какой сухой. Я вылезу.

— А мы говорим — не вылазь.

— Если у меня мочи нету? Вылезу, хотя б помереть пришлось.

— Тогда пропадай, как муха, черт с тобой! — сердито ответил Червяк.

Матрос не хотел его сердить и молча доехал до первой станции. Но как только зашумели тормоза и поезд остановился, Матрос решительно открутил проволоку и без слов выскочил из ящика.

— Два звонка! — крикнул ему вдогонку Червяк. — Поскорее. . .

Но Матрос не побежал на перрон искать воду. Он тут же камнем упал между колесами и исчез под вагоном. Думы о Маслике не давали ему покоя. Нельзя было оставлять его одного на рессорах! Все виноваты, а больше всего он, Матрос, потому что последним разговаривал с Масликом. И он быстро пополз под вагонами, заглядывая на каждую «палку» — так Маслик называл рессору. Но его нигде не было.

— Маслик! — шептал Матрос. — Ты не спишь, Маслик? Где ты?

Так дополз он до первого вагона. И только тут пришло вдруг в голову: «А обратно? Успею? . .».

В этот момент почти над его головой ударило:

Дзе-ень! Дзе-ень! Дзень!

Он так и прилип к земле. Выскочить на перрон? Сейчас, пока не тронулся поезд! А может быть, тут стоит начальник станции! Остаться? Пускай пройдут остальные вагоны, а тогда вцепиться за последний! На буфер. . . А если поезд наберет такую скорость, что не сумеешь уцепиться? Матрос бросился назад. Ползти! Выскочить с другой стороны вагона, побежать к концу поезда, а там. . .

Тюфи-иррр-фи-иррр! . .

Свисток!

Матрос, не отдавая себе отчета, хотел вскочить на ноги. Он вскочил и с разгона ударился головой о железо. В глазах замелькали искры, голова закружилась. Однако успел заметить: он присел под буферами, соединяющими два вагона. Тогда, напрягая мускулы и последние силы, он ухватился руками за буфер, задрыгал ногами, уперся локтями в мостик, что на буферах. Еще

немного... Еще одно усилие... Если бы кто-нибудь помог, хотя бы подтолкнул... И он уже был бы на мостике. Вон и лестница, ведущая на крышу... На крышу! Матрос еще раз задрыгал ногами и подумал: «Или сорвусь, или выберусь...» Кажется, кондуктор. Приближается его фонарь... «Ну же! Р-раз...» Поезд вздрогнул, и в этот момент Матрос уперся грудью в мостик. «Теперь не сорвусь! Дудки!..» Прошло еще полсекунды — и он был на мостике возле лестницы. Он схватился за перекладины и вмиг оказался на крыше.

— Поехали! — захохотал он и повалился на холодную жесть крыши.

Из-под фуражки поползло что-то теплое. В глазах у Матроса потемнело. Он потерял сознание.

Поезд летел, оглашая своими гудками ночные просторы. А в ящике ребята напрасно ждали Матроса. Червяк злился, ругался, проклинал Матросово безрассудство, как и безрассудство Маслика. В щели их ящика стал пробираться холодный рассвет. В это время на крыше вагона Матрос пришел в себя и удивленным взглядом обвел яркие фонари, людей, суетившихся внизу, и каменные постройки вокзала.

Поезд стоял на большой станции. Приехали? Матрос долго вспоминал, что с ним произошло, потом потрогал рукой голову. Фуражки у него на голове не было, ее унесло ветром. На макушке клок волос слипся и затвердел. Голова немного болела, но ему было не до нее. Матрос припомнил все. Маслика нет, и неизвестно, где он свалился.

Когда через несколько минут путешественники встретились на столичном вокзале и Червяк от радости схватил Матроса за голову, тот слегка охнул и отстранил Червяка.

— Маслика нигде нет.

Ребята приуныли, заморгали глазами, пряча их друг от друга. Было слышно, как они тяжело вздыхали и шмыгали носами.

— Вот несчастье... Захотелось же ему... Где же он выпал, чудак?

И никто не мог сказать им о том, что Маслик из-за своего упрямства пропутешествовал на рессорах всего

несколько саженей на вокзале. Когда тронулся поезд, то и его потащило по земле и тянуло до тех пор, пока не оборвались старые лохмотья его сорочки. Искалеченного, с содранной кожей, его отправили в морг.

Ребята молча, сердито сплевывая уголь и протирая запыленные глаза, направились в незнакомый город.

VI

Алеша проснулся от нестерпимой духоты. Покрытый чем-то тяжелым, он уснул после припадка и теперь не мог понять, где находится. Сбросив лохмотья, которые не давали ему дышать, Алеша поднял голову и заметил, что лежит на полу посредине комнаты. У него так болело тело, будто его долго били каблуками. Язык распух и ныл, а когда Алеша пошевелил им, то понял, что прикусил его и что во рту остался еще сгусток соленой крови. Напрасно он пытался припомнить все, что с ним произошло. События проходили перед ним как в тумане. Он потерял сознание, но он помнит, что долго кричал, злился, что у него были какие-то мысли, а теперь ничего нет. Теперь снова тоска по Матросу и больше ничего. . .

В помещении было тихо и темно, — наверное, уже ночь. Порой едва заметная полоска света лизнет край окна — это уличный фонарь, раскачиваемый ветром, бросает в дом свои мигающие лучи. Алеша услыхал чей-то шепот:

— Смотри. Встает. . .

— В самом деле! А что он будет делать? — испуганно спросил другой.

— Кто его знает. Сумасшедшие — так они все могут сделать. Я слыхал, что один даже хотел всех перерезать.

— Ну? И что же?

— Да ясно, не удалось.

— Удрали?

— Нет, чего же удрали? Ножа не было, а он с палкой. «Порежу!» — кричит. . .

— Вот будет дело. . .

— Чего? Этот не очень-то страшный. Он еще не дошел до точки.

— А если дойдет? — с тревогой спросил кто-то.

— Ну, если дойдет, то известно. Тогда уже все может.

Алеша слушал этот шепот и чувствовал, как у него стынут пальцы. Ему показалось, что сердце перестало биться.

— Это он как услыхал про Матроса, так сразу бах — и сошел с ума! — продолжал первый.

— Потому что все-таки страшно было, когда об этом рассказывал Глухой.

— Конечно, как для кого. Может, и страшно. А я-то уж не испугаюсь.

— Ну?

— А ну да. Я уже пуганый. Мне наплевать.

Вдруг Алеша все припомнил: Глухой ездил опознавать Матроса, а они ждали его долго, до вечера. Потом Глухой вернулся и рассказал... Ему стало холодно. Застучали зубы. Голова болела. Алеша нащупал свой матрац и лег лицом вниз, затыкая уши, чтобы не слышать таинственного шепота. Уснуть он уже не мог. До самого утра у него звенело в ушах и сжималось сердце.

Встал он с постели бледный, с холодным потом на лбу, с печальными, запавшими глазами. Товарищи избегали его. Его вид пугал их, и они, собравшись в уголке, тихо разговаривали, бросая в его сторону быстрые, тревожные взгляды. Таракан позвал Алешу к себе и, внимательно посмотрев на него, равнодушно покачал головой.

— Тебя придется отправить в больницу, — сказал он. — Я не могу держать у себя больных, которые пугают всех ребят в детдоме.

— Я не больной. Чем же я больной? Я такой, как и они. Я ни в чем не виноват. Напрасно на меня нападают. Теперь говорят, что я больной, — ответил Алеша.

Его голос звучал раздраженно, резко. Он бросал слова прямо в лицо Таракану, перед которым стоял на расстоянии одного шага. В его движениях была заметна какая-то обостренность и суетливость. Он вдруг

взмахивал рукой или быстро поворачивал голову к дверям, будто его кто-то окликал. Потом он опять поворачивался к Таракану, и в его глазах светилось нетерпение, будто ему казалось, что его все время кто-то зовет. А то вдруг обрывал разговор на полуслове и застывшим взглядом смотрел на окно или на Таракановы усы.

Таракан, покачав головой, отпустил Алешу, приказав ребятам наблюдать за ним. Но Алеша, казалось, успокоился, замкнулся в себе и ни с кем не разговаривал.

Каждый день перед детдомом появлялся Черный. Свесив голову на тротуар, он несколько раз обходил дом, будто задумчивый сторож, поглядывая порой на ворота своим красным, усталым глазом. Иногда из детдома в него летели камни. Черный, не поворачивая головы, отскакивал шага на три в сторону, потом возвращался, обнюхивал и, убедившись, что это не хлеб и не кость, которую можно было бы подержать в зубах, снова отходил и посматривал на ворота. Алеша как только замечал собаку, не заставлял себя ждать, тотчас выходил на улицу, и они не спеша отправлялись путешествовать по неизведанным местам. Иногда Алеше удавалось припрятать для Черного кое-что из объедков. Тогда они оба радовались и долго бродили вместе. Если бы еще жив был Матрос, тогда их было бы трое и они вместе могли бы уйти из детдома, в котором стало так невесело.

Думать о Матросе для Алеши стало просто мукой. Все приметы, о которых говорил Васька Глухой, казалось, не подтверждали, что погиб именно Матрос. Однако страшные, горькие сомнения не давали Алеше покоя.

Прошло несколько дней. Небо уже перестало быть прозрачно-синим, оно отяжелело, низко опустилось над городом и, будто покрытое пылью и затянутое серым туманом, начало сбрасывать на землю неприветливую влагу. По утрам было холодно. На мостовой долго не высыхала роса, а временами начинал падать резкий дождь, дул холодный морской ветер. В доме спать



было холодно. На ночь ребята сдвигали один к другому матрацы и спали, обогреваясь теплом товарищей. Только Алешин матрац, как и прежде, одиноко лежал возле дверей.

Однажды Васька Глухой заявил ребятам, что сегодня выписывают Пуговку. Васька сам пошел за ним в больницу, и через несколько часов они вдвоем, веселые и гордые, вернулись в детдом, потому что Пуговке было о чем рассказать и чем похвастаться перед товарищами. Во-первых, ему зашивали живот, словно мешок, кривой иглой, а он потом пальцами вытягивал нитки, потому что он не дурак, чтоб быстро выйти из больницы. Там он спал, как барин, на настоящей кровати, укрывался одеялом, ел хороший суп с белыми сухарями, потом разную рыбу, молоко и другие вкусные вещи. Все это и не снилось ребятам в детдоме.

Пуговка появился на пороге неожиданно и стоял там до тех пор, пока на него ребята не обратили внимание.

— Ну вот и мы, — сказал он, поглядывая на товарищей.

— Пу-у-у-говка! — разнеслось по комнате. — Пу-у-говка! Смотри, щас лопнет!

Он стоял теперь, как когда-то Матрос, заложив руки в карманы, со спокойным и пренебрежительным выражением на лице.

— Пошти, — произнес он так, как когда-то говорил Матрос. — А какие тут у вас новости?

Потом Пуговка пошел к Таракану и выслушал от него все то, что тот говорил всем ребятам, когда принимал детдом.

Весь день рассказывал Пуговка ребятам о своей жизни в больнице. Какие он там выделывал штуки! Никто бы так не сумел!

Например, он всегда сбивал повязку. Поэтому рана у него очень долго не заживала. Врач даже угрожал связать ему руки, но Пуговку этим не испугаешь. Потом он у больных тащил хлеб, и никто не мог его поймать. Вообще там было много интересного. Ребята слушали его с завистью.

В это время пришел Алеша. Пуговка заметил его,

когда он показался в дверях, и остановился на полуслове. Какое-то мгновение все с любопытством глядели на них, ожидая, что будет. Потом Пуговка процедил сквозь зубы:

— Здравствуй. Чего смотришь? Не узнал, может быть?

Алеша сделал вид, будто он не слыхал его приветствия, и не ответил ему. Он прошел в свой угол, сел на сундучок Матроса. Пуговка сморщил нос.

— Припадочное... Еще и молчит. Зануда.

Алеша глядел в окно, будто это его и не касалось. Лицо у него было очень спокойное и бледное. В глазах горела немая решимость: будь что будет, он не произнесет ни слова.

Пуговка подошел к нему, стал боком и посмотрел через плечо. Алеша выдержал этот взгляд, уголки его губ даже презрительно шевельнулись. Это произошло неожиданно и очень поразило всех. Пуговка покраснел; чтобы скрыть смущение, он бросился к своей фуражке, вытащил оттуда окурок и сунул его себе в рот.

— У кого есть спички? — громко спросил он.

— У меня есть, — ответил Васька Глухой.

Но Пуговка надеялся, что спички не найдутся, и теперь не знал, как поступить: курить в комнате он боялся.

— Или не надо, лучше попозже, я ведь недавно курил, — сказал он, пряча окурок.

Улыбка снова пробежала по лицу Алеши. Но Пуговка уже отвернулся и не заметил ее. Он бормотал угрозы по адресу своего врага, сжимая свои тонкие, синюшные губы.

...Таракан по вечерам всегда сам давал звонок к отбою. В коридоре уже раздавались его шаги. Вот он взял в руки звонок. Железный язычок звонка ударился о глухую медь, зажатую в его пальцах.

VII

Время шло, и ребята убедились, что Пуговка не может отомстить Алеше так решительно и смело, как ему самому отомстил Матрос. Заведующий детдомом свел

их обоих у себя в комнате. Что он им говорил, никому не известно, но помирить Алешу и Пуговку Таракану не удалось. Алеша, казалось, не обращал никакого внимания на Пуговку, целыми днями где-то бродил, иногда даже опаздывал на занятия, которые завел было в детдоме Таракан. За опоздания Алешу не раз наказывали, и это было единственным утешением для Пуговки.

Кончалась холодная осень. Первые снежинки падали на мокрые тротуары, на темную мостовую и, упав вяло и бессильно, как чьи-то не исполнившиеся мечты, таяли под ногами мрачных горожан. Давно отошла золотая свежесть листопада, потемнели стены домов, а по ночам голые ветви деревьев уже покрывались сединой. Море под напором разбушевавшегося ветра чернело и грозно шумело. Вечером, точно фосфорические глаза, раскачивались на проволоке фонари, брошенные в слякоть и густой туман.

Таракана не было в детдоме. В тот вечер он куда-то ушел, поручив старушке няне присматривать за ребятами. Ребята изнывали от тоски, не могли придумать, чем бы развлечься, и не знали, как убить время. Тогда Пуговка подошел к Алеше и, подмигивая товарищам, сказал:

— Хундожник, говорят, что ты умеешь прикидываться малохольным. А ну-ка, покажи...

Алеша блеснул на него глазами, тревожно взмахнув веками.

— Покажи, а то я не видел. Наверное, очень интересно, — продолжал Пуговка. — Говорят, что ты даже пену пускаешь изо рта. Вот я так не умею.

Алеша посмотрел на ребят. Они глядели на него немного испуганно, но вместе с тем в их глазах горело нескрываемое любопытство. Если бы Пуговке сейчас не удалось осуществить свое намерение, они были бы очень недовольны. Пуговка, почувствовав немую поддержку со стороны товарищей, подошел поближе к Алеше, меряя его нахальным, презрительным взглядом. Он снова, еще раз и, может быть, последний, ставил на карту свой авторитет. До сих пор ему не удавалось поиздеваться над своим врагом, потому что все его вы-

ходки Алеша встречал презрительной улыбкой и этим только злил Пуговку.

Ребята уже начали было уважать Алешу за его спокойствие. Но сейчас им было очень скучно сидеть без развлечений. Они рады были, не вмешиваясь, еще раз посмотреть на столкновение Пуговки с художником.

Пуговка двинул локтем, задев Алешу по голове.

— Ну, начинай! Распускай слюни!.. Подождите, он так, с наскока, не может. Ему надо подумать. Вот он подумает, как сделать лучше, а потом уж наверняка повалится на пол и начнет биться головой... о, о!.. Смотрите, уже начинают дергаться губы.

— Не лезь! — закричал Алеша.

— Губы уже дергаются. Ноздри подскакивают... Смотрите, смотрите! Какие глаза! Наверное, они сейчас лопнут, потому что уже выкатились на лоб, смотрите, как... О! Побелел... Нет, посинел... Сейчас начнется представление... Разойдись, публика! Художник Алеша Мамалыга будут плясать... Ги-ги!

Пуговка сам дрожал от напряжения. Ему до боли хотелось, чтобы Алеша упал и стал биться головой о пол. Он кричал, а сам чувствовал, что может заплакать, если только с Алешей ничего не случится. Он ударил бы его, вцепился бы своими ногтями ему в глаза, но игра должна идти иначе. Ребята не хотят, чтобы он бил его. Надо так раздразнить Алешу, чтобы тот валялся на полу, а он, Пуговка, чтобы оставался над ним, оттолкнул бы его от себя ногой и ушел прочь.

— Ну, начинай же! — крикнул Пуговка не своим голосом. — Начинай, малохольная падучка! Зараза, начинай!

Алеша вскочил на ноги и, не владея собой от гнева, кусая от оскорбления и ненависти губы, плюнул Пуговке прямо в лицо.

— На! Вот! На!.. Воришка! Уркаган!..

Ребята в огне диких страстей вздрогнули от неожиданного хохота.

— О-го-го! А что!..

Пуговка остолбенел. Он даже не вытер лицо, завизжал и бросился на Алешу.

Они сплелись голыми руками, с которых слетали клочки одежды. Стремительным комком покатились они по полу, хрипя и извиваясь, ударились о дверь, выкатились в коридор, вцепившись друг другу в горло. Толпа ребят ревела и свистела от удовольствия. Пуговка ударил плечом в наружную дверь. Пронизывающий ветер и мокрый снег ворвались в помещение. Пуговка вытолкнул Алешу на улицу. В этот момент дрожащая собака выскочила из-под ворот и с голодным рычанием бросилась на Пуговку. Все остановились. Пуговка с ужасом отскочил к дому. Следом за ним юркнули в коридор все ребята. Хлопнула дверь. Ее заперли. Тогда Алеша схватил полено и с невероятным криком стал бить им в дверь. Но из коридора доносился только топот. Перепуганные ребята побежали в комнаты.

Алеша выбежал на улицу. Собрав все силы, он стал бить поленом по окнам. Стекла падали на него. Однако он не замечал ни боли, ни крови. Полено бешено взлетало над его головой, будто бы оно целиком завладело его судорожными руками, послушно двигавшимися вместе с ним. В бешеном ритме сыпались удары. И с каждым ударом Алеша получал какое-то невыразимое, страшное удовлетворение. Наконец он в последний раз взмахнул окровавленными руками, зашатался и грохнулся возле карниза. Силы оставили его. Он захрипел, раздирая пальцами жесткую известь, и стал биться головой о тротуар. Его тело сводила судорога. Глаза застыли, нацелившись белыми точками в холодную пустыню ночи... Черный склонился над ним и завыл.

В таком состоянии обнаружил Алешу прохожий. Он остановился, увидев перед собой необычную картину: с лицом, перекошенным мукой, лежал на тротуаре мальчик, а в его окровавленной руке разорванное, мокрое ухо собаки, склонившей ему на грудь свою голову.

Прохожий позвал милиционера. Когда собралась публика и подошел милиционер, Пуговка крикнул в окно, что этот мальчишка, наверное, сумасшедший, потому что он вот что наделал и что они будут бояться, если он останется лежать тут, под окном. Тогда мили-

ционер, расстроенный таким происшествием, взял Алешу на руки, завернул его в свою шинель и, сев на извозчика, велел ехать к дому, расположенному в предместье.

Извозчик тронул лошадь; прохожие разошлись, покачивая головами, а пес побежал за дрожками, поглядывая на милиционера.

Пуговка высунул голову в разбитое окно. Он следил за милиционером.

— Повезли в сумасшедший, — сказал он ребятам, услышав адрес. — А что, не говорил я, что у него не все дома?

Ребята молча согласились, постукивая зубами от страха и холода, врывавшегося в разбитые окна.

Прошло длинных два часа. Никто не нарушал тишины. Наконец вернулся Таракан. Он вошел в комнату вместе с няней, которая взволнованно рассказывала ему о событиях, происшедших вечером. Он остановился посредине комнаты и испуганно обвел глазами серые фигуры ребят, которые, прижавшись к стене, молча ждали расправы.

— Что вы наделали? — наконец спросил он. — Где Алеша? Пуговка, это твоих рук дело? Отвечай сейчас же!

Пуговка пошевелился в своем углу. Буркнул:

— Алешка тронулся. Побил стекла. В общем, с ним неблагополучно. Отвезли в больницу.

— Кто отвез? Бандит ты!

— Милиция. Схватили на улице и увезли.

— Куда увезли?

— Наверное, в желтый дом. Потому что туда, на слободку...

Заведующий схватился за голову.

— Несчастный мальчишка! Я уже думал отдать его в школу... Вот горе! Затыкайте окна старыми матрацами, — обратился он к няне. — Завтра поеду в больницу, разузнаю, что с ним случилось. Спать! Чтоб у меня тихо было!

Он вышел в коридор и позвонил. Ребята с каким-то облегчением стали укладываться спать.

VIII

Милиционер привез Алешу к тихому дому, который стоял в темном, оголенном саду, окруженном каменной стеной.

— Где это мы? — спросил наконец Алеша, очнувшись.

Милиционер, не выпуская его, подошел к воротам и стал бить ногой по черному кованому железу.

— Ничего, — говорил он Алеше, — ты не бойся. Тут будет хорошо — и тепло, и все... Ты чей?

— Я из детдома. Куда вы меня ведете? Пустите! Я не знаю, где это я. Пустите...

Милиционер покачал головой, прижал его к себе и снова застучал в ворота. Железо глухо застонало, содрогаясь под ударами его сапога. Наконец вышел бородатый мужчина с фонарем. Затягиваясь трубкой, он весело спросил:

— Кого тут черти носят в такую пору? — и стал отпирать калитку.

— Примите больного, — коротко ответил милиционер.

Алеша впился руками в его шинель.

— Не пойду! — отчаянно закричал он. — Не пойду! Я не больной! Пуговка нарочно дразнит меня!

Но сильные руки дежурного санитара уже держали его. Незнакомое лицо склонилось над ним, произнося спокойно и равнодушно:

— Ну, довольно! Замолчи! Пойдем, ляжешь спать.

И он повел его между корпусами, окутанными ночным покровом. Где-то с глухим скрипом запирались ворота. За ними билась и отчаянно лаяла собака — ей не удалось проскочить во двор. Оставшись на улице, она беспомощно звала своего друга и царапала железные ворота.

Холодный ночной ветер шумел в вершинах деревьев, раскачивая тяжелые, мокрые ветки. Скупой фонарик, висевший над дальним корпусом приемного покоя, мелькал подозрительно и печально. Алеша весь дрожал, пытаясь прикрыть грудь остатками сорочки, свисавшей с его плеч. Санитар молча ввел его в ком-

нату. Вызвал дежурного врача. Все вокруг поплыло перед глазами Алеши. Теплота неслышно разлилась по телу мальчика, сковывая его приятно тяжелыми, незримыми цепями. Ему казалось, что тепло струилось из глаз и бороды врача, который подошел к нему, взял его за руку и, спрашивая о чем-то санитара, быстро сбрасывал с Алеши лохмотья. Прошла еще минута, и Алеша почувствовал, что он проваливается в глубину темных глаз врача, они неслышно втягивают его в себя, неумолимо смыкаются над его головой, и он ныряет туда, словно в воду. Он пытался что-то ответить врачу. Тот покачивал над ним своей бородой. Но слова не слушались Алешу, останавливались где-то в груди, забивая дыхание легким и теплым пеплом. Потом он очутился в настоящей воде, бился о какие-то белые гладкие стены, а цепкие руки санитара держали его, стараясь окунуть в эту теплую воду. Потом все исчезло. Его куда-то понесли и бросили в пропасть, на дне которой переливался полумрак, стонали страшилища. Все исчезло.

Наконец он проснулся. Дикий хохот обрушивался на него. Алеша раскрыл глаза. В решетчатое окно синевато-бледной пеной пробивалось утро. Перед его глазами стояла высокая стена, внизу серая, а повыше беловатая. Прислонившись к стене, стоял распятый. Раскачивая животом, он хохотал до изнеможения, а его глаза неподвижно смотрели на Алешу. Холодный ужас поднял Алешу с постели. Он схватился руками за спинку кровати. Тогда распятый отделился от стены и, оглядываясь вокруг, быстро, испуганно пробежал между рядами кроватей и спрятался где-то в углу. Алеша хотел понаблюдать за ним, но в этот момент он заметил, что из двух противоположных углов на него глядят чьи-то бегающие, угрожающие и тревожно блестевшие глаза. Потом поднялись еще какие-то люди, стали расхаживать по комнате, а лица у них были желтые, со странными, бессмысленными улыбками, с хитро прижмуренными глазами и сведенными над мокрым лбом бровями. Какой-то молчаливый и угрюмый старик подошел к его кровати, долго стоял возле нее с печальным видом, стыдливо шевелил пальцами, закрывая на

груди длинные рыжие волосы, а затем отошел, не сказав ни слова. В углу он присел, поджал колени, и стал чертить вокруг себя пальцем, стараясь подолом рубахи скрыть от всех то, что он делал. Но это ему не удавалось, потому что из-за его спины выглядывал высокий угрюмый мужчина и тоже что-то быстро чертил карандашом на бумаге, которую он вытащил из кожаной сумки. Эта сумка висела у него через плечо на старой, мохнатой веревке. Старик вдруг поднял голову, заметил мужчину и быстро стер рукой то, что он будто бы начертил. А у мужчины на лице появилось такое выражение, будто ему совсем безразлично, что чертит старик. Он сложил бумагу в сумку и отошел в другую сторону. Старик подождал, посидел немного и опять стал чертить. Мужчина снова приближался к нему...

Потом откуда-то донесся тоскливый крик. Алеша обернулся. Он увидел двери, а за ними комнаты, такие же длинные и заставленные кроватями. И оттуда по всему зданию разносился какой-то странный вой. Комнаты были заполнены людьми. Таких людей ему никогда не приходилось видеть. Они кружились перед ним, как в страшном сне, кричали, трясли своим рваным, грязным бельем, их перекошенные лица, серые губы, безнадежно блуждавшие глаза удивляли Алешу. Алеша потерял из виду старика и мужчину с сумкой. Ослепленный неясными идеями, их разум блуждал страшными окольными путями, сея вокруг подозрение, самовосхваление или ужас воскового равнодушия. Среди этой ярмарки ярко вырисовывалась фигура тучного мужчины с засученными до локтей рукавами. Подобрав полы длинного халата, он переходил из одной комнаты в другую и с таинственным видом сообщал всем, что он наконец имеет свое предприятие и продает ежедневно тысячу пудов мяса. Он подошел к Алеше. Подпоясанный полотенцем живот его свисал двумя мешками. Синяя кожа на его челюстях была вздута, а в глазах светилось самодовольство.

— Тысяча пудов мяса, как вам кажется? — спросил он у Алеши. — Не забудьте, только одной говядины. Сегодня я получаю партию свежих сортов. В продажу пойдет не менее трех тысяч пудов...

Он наклонился к Алеше и поднял вверх дрожащую руку, на которой выступила гусиная кожа. Алеша закричал, вскочил с постели, хотел было бежать.

— Куда ты? — услыхал он чей-то спокойный голос. — Не бойся, он не тронет. . .

Перед Алешей стоял санитар и внимательно смотрел на него.

В десять утра в палату вошел врач. Это был не тот врач, которого вчера, будто во сне, видел Алеша. Этот был в обыкновенной одежде, без белого халата, с бритым лицом; с его высокого лба свисали брови, как два широких черных крыла. На его птичьем носу сидели очки, тоже напоминавшие пару крыльев: синеватые, искривленные, они соединялись над носом черной изогнутой пружиной, готовые ежеминутно выпрямиться и взлететь в воздух. За ними виднелись узкие серые глаза с холодным, спокойным блеском. Заложив руки за спину, врач стоял возле дверей, бегая по палате стальными остриями глаз. Он на одно мгновение останавливал взгляд на каждом больном, и лицо этого больного или расплывалось от этого взгляда в бессмысленную улыбку, или еще больше мрачнело, пересекаясь тенью ненависти. Другие же продолжали стоять неподвижно и спокойно, они никого не замечали вокруг себя, находясь далеко за пределами окружающего, в тумане ирреального. Врач одну минуту присматривался к восковым лицам каталептиков, потом стремительными шагами направился в другую палату, а за ним, выкрикивая, строя гримасы, поплелись несколько беспокойных маньяков, жалуясь и угрожая. Потом он обернулся и приказал санитару привести в кабинет Алешу.

Алеша вошел в чистую и спокойную комнату, пахнущую табаком и озоном, который постоянно образовывался здесь от электрических разрядов. Удивительные предметы поражали его своим темным блеском. Из высоких шкафов выпирали тесные ряды тяжелых книг. Врач сидел возле стола, положив на зеленое сукно бледные, неподвижные пальцы. Санитар подвел к нему Алешу.

— Здравствуй, — тихо обратился к нему врач. — Садись здесь, на стул. Как тебя звать? Откуда ты?

Алеша назвал свое имя, сказал, что он был в детдоме.

— А как же ты сюда попал?

— Меня привезли.

— Кто? Зачем тебя привезли?

— Не знаю. Я не хотел. Пуговка изводил меня из-за Матроса. Мы с ним подрались, и он выбросил меня во двор. Потом меня привезли сюда. За воротами осталась собака... черная... Отпустите меня... — сказал мальчик задрожавшим голосом. Алеша чувствовал, что к горлу подкатывается нестерпимо горячий клубок. — Отпустите...

— Ты хочешь вернуться в детдом?

— Нет, туда я не хочу... Только отпустите...

— А куда ты пойдешь?

— Не знаю. Я посмотрю. Куда-нибудь да пойду...

— Так-с...

Врач некоторое время молчал, а потом вдруг спросил:

— А где ты порезал руки?

Врач уже разговаривал с заведующим детдомом. Тот рассказал ему про оба припадка, которые были у Алеши.

Алеша посмотрел на свои руки, потом перевел удивленный взгляд на врача.

— Это, наверное, когда я дрался с Пуговкой.

— А кто бил стекла?

Алеша непонимающе открыл глаза, пытаясь что-то припомнить. Его лицо стало напряженным. К сердцу подступила тоска. Казалось, что она становилась все сильнее, заполняя грудь, как туча, и еще минутка — и она упадет, разразившись дождем. Тогда сразу станет легче. Но для этого нужно что-то припомнить... Он сдвинул брови, окинул врача взглядом, в котором были и трепетное смущение, и боль, и мольба.

— Стекла? .. Отпустите меня...

Он отвернулся, потом неожиданно громко зарыдал, вздрагивая всем телом.

— Я вылепил из глины черта. Пуговка украл его,

а я подарил его Матросу, — произносил он сквозь ливень горьких слез. — Это был Матросов. Я сам ему подарил. Тогда Матрос поссорился с Пуговкой и ударил его ножиком, а сам убежал... Васька Глухой говорит, что это его... из-под... поезда...

Рыдания мешали ему говорить. Врач наклонился, стараясь в обрывках его речи уловить малейшие оттенки интонации.

— Кого? Что из-под поезда?.. Успокойся... Кого из-под поезда?

— Матроса...

— А, ты думаешь, что Матрос погиб?

— Конечно... Васька говорит...

У врача заблестели глаза, когда он из целого вихря мыслей уловил одну, терзавшую мальчика. И он использовал ее в качестве оружия.

— Неправда! Васька вовсе не знает, Матрос это был или нет. Я думаю, что это был не Матрос. Ты зря слезы льешь.

Алеша умолк. Хотя его глаза еще пылали, но они уже были сухими, словно стыд осушил слезы. Алеша заплакал впервые. Он не плакал даже тогда, когда исчез Матрос. И теперь не мог понять, как это получилось.

— Может быть, ты расскажешь мне, что ты делал в детдоме, где жил раньше? — спустя некоторое время спросил врач.

Алеша молчал. Больше он ничего не хотел и не мог рассказать. Если его не хотят выпустить отсюда, так пускай хоть собаку пустят во двор, черного пса, который остался за воротами. Врач пообещал сделать это.

— А теперь гляди сюда. Так. Прекрасно. Положи сюда ногу. Дай мне твою руку. Все прекрасно, — сказал врач и быстро посмотрел в Алешины глаза, потом закрыл рукой один из них и следил за тем, как расширяется зрачок другого.

Реакция вполне удовлетворила его. Он испытал его глаза на аккомодацию и конвергенцию. Чудесно! Тогда он вытащил из кармана блестящий молоточек и ударил им по Алешиному колену. Нога подскочила вверх. А левая? О, левая тоже не хуже! Рефлексы не

оставляют желать лучшего. Ну, ясно, здесь нечего искать патологических изменений. Проверим. Бабинский, Оппенгейм, Россолимо — все это сразу отпало.

— Алеша, ты совсем молодец, и тебе нечего плакать. Погоди. Вот так, что я делаю?

— Ай, колете! — вздрагивая, ответил Алеша.

— Вот и прекрасно. Не нравится? Ну, можешь идти.

Когда санитар подошел к Алеше, чтобы увести его в палату, он вдруг ощетинился:

— Не пойду! Там страшно...

— Нет, нет, ты не будешь там, — успокоил его врач. — Ты будешь в другой комнате, где совсем спокойно. Мы тебя скоро отпустим, поэтому ты не волнуйся и ничего не бойся. Отведите его в пятую, — сказал врач санитару. — Нервы его расшатаны вконец. Что за приступы? .. Сестра! — окликнул он. — Проследите за этим мальчиком! Он будет находиться в палате для эпилептиков. Не спускайте с него глаз.

Прошли первые тревожные дни и ночи с кошмарными снами. Алеша лежал в пятой палате и стал уже привыкать к людям, которые жили вместе с ним. Казалось, что это самые обыкновенные люди, но только каждый из них отличался каким-то странным характером. В этой палате их было шестеро.

Алешина кровать стояла у окна. Он лег и молча пролежал до самого вечера, будто подавленный всем тем, что произошло в его жизни за последнее время. Потом он будто бы успокоился. Исподволь он стал осматриваться.

Ближайшим его соседом был пожилой уже мужчина, чрезвычайно чистоплотный и слишком назойливый. Его звали Степаном Ивановичем. Он никому не разрешал близко подходить к своей кровати или тронуть что-нибудь из его вещей. Когда Алеша случайно прикоснулся к его одеялу, он потом долго отряхивал его и бубнил себе под нос, что никак нельзя уберечься, каждый старается причинить тебе вред, будто Алеша и в самом деле сделал ему большое зло. Об этом он говорил почти весь день. Остальные обитатели этой ком-

наты тяготились его мелочными претензиями, но он не успокаивался и, не довольствуясь этим, сел на свою кровать, достал бумагу и стал писать врачу длинную жалобу на всех. Потом перечитывал он свою писанину другому соседу.

Это был тонкий, как щепка, высокий мужчина, с нервным, подвижным лицом, на котором ежеминутно появлялось выражение скрытой тайны и глубокого страдания. По нескольку раз в день он заявлял о том, что более тяжелого больного нельзя себе даже представить. А то вдруг начинал уверять, что у него совсем перегорело сердце, что он начинает слепнуть или перестает различать какие-либо звуки даже из разговоров своих соседей. Когда и на это никто не обращал внимания, он закладывал руки за голову, отходил в сторону и долго стоял с видом человека, оскорбленного невниманием окружающих. Степан Иванович называл его «господином техником» и относился к нему очень предупредительно, любезно и учтиво. Он готов был ежеминутно пожимать его руку, восторженно заглядывал ему в глаза, подобострастно улыбался и даже кланялся ему. «Господин техник, вы человек действительно умный, вы ученый человек, ваш ум не то, что их или мой. Что я? Так себе, темнота. Правда, я уже совсем выздоравливаю. Последний припадок был совсем легкий. Даже удивительно, какой легкий. Я его совсем не заметил. Но почему все-таки такая несправедливость? Неужели нельзя понять, что это оскорбляет мое достоинство? Если каждый будет трогать мои вещи, так что же из этого получится? Я же их вещей не трогаю, даже не прикасаюсь ни к чему. Пусть и моих вещей не трогают. Послушайте, господин техник, я обо всем этом написал врачу. Вы человек чрезвычайно умный, я уважаю вас. Вот про что я пишу». Так часами Степан Иванович выражал свое уважение к технику, а тот находил у него сочувствие к своей болезни и каждый раз загорался еще большей жаждой соболезнования. Техника называли Курочкой, но Степан Иванович никогда не звал его так. Из уважения к нему он называл его «господином техником» или даже «инженером». Между тем, когда в палату

приходил врач, он изменял «господину технику» и начинал еще подобострастнее рассыпаться перед врачом. К остальным больным он относился пренебрежительно, считая их ниже себя, ходил вечно обиженный и рад был поспорить с каждым из-за любого пустяка.

Спустя несколько недель Алеша уже терпеть не мог Степана Ивановича. Он стал убегать от него в коридор, где ему разрешили прогуливаться сколько душе угодно. Алеша целыми днями одиноко бродил по бесконечным коридорам. Низкий, с цементным настилом и тяжелыми арками, поседевшими от времени и полумрака, этот коридор напоминал постройки времен страшного средневековья, когда дом для душевнобольных был и вечной тюрьмой, где несчастных приковывали цепями к холодным, заплесневелым стенам и пытками и истязаниями выгоняли из них злой дух.

Гений смелого француза Филиппа Пинеля [1], казалось, никогда не пролетал над этим коридором, хотя больница считалась лучшим образцом того, что было достигнуто людьми в этой области, и здесь самые знающие врачи отдавали свой ум и сердце тем, чей разум потерял границы реального. Эти самоотверженные люди, вооруженные новейшими достижениями науки, живя среди страшных картин безумия, несказанно радовались, когда им удавалось вернуть хотя бы немногим больным самый большой источник жизни — разум.

Этот дом был всегда наполнен неугомонным шумом. Его обитатели, утомленные бесцельным блужданием, наполняли комнаты надрывающими душу криками, печальными и бессмысленными, а удары их кулаков в дверь разносились по коридору, где их поглощала глухая пустота.

Этот шум теперь не пугал Алешу. Иногда он подходил к дверям паралитиков, чтобы послушать феерические пророчества высокого парня, который, поблескивая затуманенными глазами, провозглашал себя Магометом и призывал людей к праведной жизни.

---

[1] Пинель Филипп (1745—1826) — один из основоположников научной психиатрии.

В другой палате шизофреничный юноша пламенно декламировал свои стихи и с безумной радостью сообщал всем о том, что в него влюблена великая актриса, неописуемая красавица и первая женщина в мире. Она напрасно ищет с ним свидания. Он твердо решил сохранить свое целомудрие. . .

В той палате, где находился уже знакомый Алеше старик, происходили какие-то необыкновенные события. Алеша заметил это по тому, что туда часто забегал врач, там все время дежурили несколько санитаров и дверь палаты всегда была крепко-накрепко заперта. В часы, когда больным разрешали прогуливаться по коридору, Алеша не встречал старика. Только высокий и мрачный мужчина, который похищал у старика его таинственные рисунки, бродил со своей кожаной сумкой, прижимая ее к своей запавшей груди. Что случилось со стариком, Алеше так и не удалось узнать.

В свою палату Алеша приходил только поесть и вечером, когда надо было укладываться спать. Он теперь стал избегать встречи с «техником», который требовал от него сочувствия и пугал выдумками о том, будто бы у него усохла печень и начали отваливаться ноги.

Алеша возненавидел эти жалобы. Он наконец добился у врача разрешения выходить на прогулку не только на коридор, но и во двор. Тревога мучила его днем и ночью. Где Черный? Впустили ли его во двор? А вдруг он погибает где-нибудь в холодной подворотне, откуда его гонят камнями? Какая же это была радость, когда он, закутанный в длинный серый халат, вышел наконец во двор, пробежал между длинными строениями в конец двора, оттуда доносился стук топоров и запах кухни, и собака, неизвестно откуда выскочившая, ударилась головой в его колени, весело залаяла, а ее запавшие бока дрожали от холода.

На широких пустынных дорожках в саду лежал искристый снег. Воздух от мороза и солнца казался синеватым. Алеша почувствовал, как в его кожу впиваются острые иголки.

С тех пор Алеша каждый день, хоть на минутку,

выходил во двор. Санитары и сторож у ворот уже привыкли к нему и удивлялись, зачем его держат здесь, в больнице. Собаку они прогоняли со двора, однако не били, и она каждый раз ухитрялась как-то перескочить через каменный забор и бродила по пустынным дорожкам сада, а иногда укладывалась где-нибудь под деревом или под стеной и чутко дремала долгими часами.

Так день за днем проходило время.

Однажды, гуляя по двору, Алеша наткнулся на одну вещь и склонился над ней, как заколдованный. Под стеной маленького домика, где жил дворник, в уголке возле забора, лежал присыпанный снегом небольшой холмик обыкновенной глины. Желтая вершинка ее, пригретая солнцем, выглядывала влажной лысиной из-под снега. Алеша, наткнувшись на этот холмик, остановился над ним и задрожал от волнения. Он огляделся вокруг и быстро припал к глине, пытаясь наковырять ее закоченевшими пальцами. Но это нелегко было сделать. Сердце у него забилось часто и неровно. Вот если бы ему разрешили взять это сокровище! Сколько всяких штучек можно было бы наделать... Как хорошо получилось, что его привезли сюда! Только у кого же попросить разрешения? Где бы примоститься и начать работу?

Алеша забыл про все, присев над холмиком и охватив руками его холодную макушку. А из окна за ним внимательно следили. Через минуту санитар был уже здесь. Он взял Алешу на руки и принес его в кабинет врача.

— В чем дело? — спросил врач.

— Мальчик... был на дворе... — шепотом рассказывал санитар.

Алеша подошел поближе и, глядя прямо на нос врача, волнуясь, быстро заговорил:

— Там глина... там ее очень много. Если я возьму немножко, так даже заметно не будет... А я бы вылепил из нее такие штучки! Все равно я без дела гуляю... Пускай мне дадут хоть немного...

Врач посмотрел на него внимательно, серьезно, потом мягко улыбнулся и сказал:

— Чего же ты волнуешься? Если хочешь, возьми глину. Но только я собирался уже выписать тебя и отправить обратно в детдом.

— Выписать? Как выписать?.. Я не пойду.

— Ну как же не пойдешь, если мы тебя выпишем отсюда? Ты здоровый мальчик, ничего с тобой не случается, иди в детдом. Мы не можем держать у себя здоровых ребят.

— Так я не хочу в детдом. А сейчас зима. Куда я пойду? В детдом не пойду.

— Это уж как знаешь. А куда же ты пойдешь?

— Никуда. Вот будет тепло, тогда пойду куда-нибудь... А сейчас не пойду... Не выписывайте! У меня голова болит...

И он покраснел оттого, что соврал. Врач покачал головой и снова улыбнулся.

— Ах ты ж, симулянт!.. Ну, дайте ему глины. Принесите, пускай покажет, что он умеет делать.

Алеша вышел из кабинета врача счастливый. Он пристроился в коридоре на подоконнике, подальше от своей палаты, и с той поры вся его жизнь была заполнена вдохновенным трудом.

Он уходил из своей палаты чуть свет. У Степана Ивановича было несколько припадков, и он становился совсем невыносимым. Целыми днями он писал бесконечные жалобы врачу, выводя каждую букву долго и педантично. Его карандаш будто прилипал к каждому слову, и он без конца водил им по одному месту, придавая буквам необычайную пышность. Они раздувались и пухли, пока карандаш нерешительно передвигался на новое место, чтобы порой снова начать ту же самую фразу, которую только что кончил. После этого Степан Иванович брал акварельные краски и кисти и начинал украшать свои письма какими-то странными рисунками. Он клал на бумагу преимущественно темные краски, накладывая их одну на другую по нескольку раз, добиваясь того, чтобы рисунок казался написанным маслом. Его тяжелой духовной депрессии соответствовали эти тона, другими он не пользовался до тех пор, пока у него не менялось настроение. Тогда он вдруг оставлял все темное и

пользовался только яркими красками — светло-желтыми, зелеными, светло-голубыми. На конверте он писал: «Господину Дину. Маршу. Товарищу. Король Гречаненко, Гималайские острова». На другой стороне конверта он несколько дней вырисовывал собственную корону, петуха, одинокий корабль, океан-море и опять острова.

Однообразие его работ надоело Алеше. Он относился к ним с легким презрением, которое старался скрыть. Сам он начал лепить большую группу Лаокоона — змеи обвивают людей, их плечи, ноги и шеи — так, как он видел их в городе, в зеленом скверике перед домом Красной Армии. Он не мог сохранить в своей памяти детали скульптуры. У него осталось лишь сильное, глубокое впечатление от внутреннего содержания этой группы. И он работал не столько по памяти, сколько по интуиции. Под его пальцами рождались удивительные головы, полные страдания и глубокой скорби. Рождались груди, в которые впились змеиные жала.

Вскоре к ним в палату привели еще одного больного. Это был бледный юноша лет восемнадцати, с желтыми, почти прозрачными ушами, с тонкими ярко-красными губами. Глубокие голубые глаза юноши светились тоской, а порой экзальтированно. Звали его Роман. Санитар рассказал Алеше, что Роман незадолго перед этим пришел откуда-то в город и стал работать у одного художника за харчи. Он выполнял черную работу — растирал краски, чистил кисти, носил ведра, подставлял лестницу и прочее. Во время работы с ним происходили странные случаи, когда он будто замирал на месте, забывая обо всем, или уходил неизвестно куда, а приходил в себя где-то в неизвестных кварталах, пробуждаясь словно ото сна. В последние дни он стал чувствовать себя еще хуже. Хозяин не захотел с ним возиться и отправил его в больницу.

Однажды, когда Алеша с увлечением работал над созданием третьей фигуры своей группы, к нему неслышно подошел Роман.

— Что это ты делаешь? — спросил он.

Алеша вздрогнул от неожиданности. Обернувшись,

он увидел Романа и дружески ему улыбнулся. Роман теперь выглядел лучше, сознание возвращалось к нему.

— Да вот... эту штуку... — смущенно ответил Алеша. — Получается или нет?

Роман одобрительно кивнул головой. У него заблестели глаза.

— Получается! А я умею рисовать.

— А ну, покажи.

— Сегодня врач даст мне краски, а то Степан Иванович к своим даже притронуться не разрешает. Тогда увидишь.

— А ты давно научился?

— Я? Кто его знает...

Роман задумался, словно хотел что-то припомнить. Потом сел возле окна и стал смотреть, как лепит Алеша.

— Не знаю... А можно мне смотреть? — спросил он спустя некоторое время.

— Смотри. Только ни о чем не спрашивай, пока не закончу.

Роман молча просидел возле Алеши до самого вечера. Утром он достал краски и несколько небольших квадратиков фанеры. Он пришел в коридор и показал все это Алеше.

— Ну, давай теперь. Ты — свое, а я — свое.

Каждый из них занимался своим делом.

Несколько раз в день мимо них проходила сестра. Она, останавливаясь на несколько минут, следила за ними издали, а потом шла к врачу и рассказывала ему о двух художниках.

Роман приступил к своей работе, не сознавая даже того, что именно он будет рисовать. Потом, будто из волшебного источника, скрытого где-то в глубинных тайниках его подсознательного мышления, проявились неясные желания и на фанере стали загораться краски. Он рисовал страшный пожар. Ночной ветер развевал огненные крылья видневшегося вдали зарева, а на переднем плане темная ночь и освещенный пламенем колокол, размахивающий своим железным языком. Напряженная рука человека хватала веревку,

оборванную ветром, и сжимала ее черными, обуглившимися костями пальцев...

Алеша долго смотрел на его работу, глубоко пораженный, даже растерянный этой стихией красок и беспросветного отчаяния.

— Где ты учился? В художественном? — спросил он, отойдя от своей глины.

— Нет. Нигде. Кто его знает, как это оно получается.

Они стояли молча, всматриваясь в то, что создал Роман и что было для него совсем чужим, будто бы он не прикоснулся к рисунку даже пальцем...

— А я еще с детства, — сказал Алеша, отвечая на свои мысли. — Всегда леплю, если есть глина. Я хочу пойти в художественное. А ты?

Роман молчал. Он стоял, прислонившись к подоконнику, закрыв глаза. У него дрожали пальцы, по лицу пробегала какая-то сероватая тень. Из горла у него вырвался хриплый звук, и Роман, расставив ноги, вдруг пошатываясь пошел прямо в глубину полутемного коридора.

Алеша испуганно закричал и побежал за санитаром.

...В палате бился в припадке Степан Иванович и ломал себе руки «техник». Санитар схватил Романа на руки и положил его возле двери.

В это время Алеша услыхал торжественное пение. Оно доносилось в коридор из той комнаты, где находился старик, которого Алеша уже давно не видел.

IX

Уже подул весенний ветер, в саду запахло свежей землей и корой набухших деревьев. Когда выдавался теплый денек, больных выпускали из палат, и они бродили по мокрым дорожкам сада — эти живые контрасты с солнцем и светлой лазурью. В конце сада стали копать грядки. Врач ежедневно приходил туда, чтобы посмотреть, как работают те, к которым возвращается здоровье. Алеша с удовольствием возился

там целыми днями. Роман работал на грядках с увлечением, а рисовать он совсем перестал.

Как это случилось? Глаза Романа постепенно утрачивали свой печальный блеск, а вместе с ним угасали и те рубины, малахит и янтарь, которые еще совсем недавно вспыхивали у него под рукой. Последние его рисунки были бесцветные и шаблонные. Так мог бы нарисовать каждый, кто редко держал в своих руках кисть. Алеша болезненно переживал творческое угасание своего друга, которого он любил именно за его чудесную в прошлом фантазию. Теперь Роман даже не вспоминает о красках, целыми днями копает грядки и собирается уходить на волю. Врач, изучая его последние рисунки, довольно, а вместе с тем и печально покачивал головой.

«Этот больной выздоравливает, — думал он, порывисто шагая по своему кабинету. — Цепь его сознания опять скована новыми звеньями, которые были разорваны, изъедены ржавчиной болезни. Больше над ним не властвует подсознательное мышление. Оно уже не может бросаться во внешнюю среду своими неисчислимыми богатствами приобретенного за жизнь содержания. Хватит. Теперь, словно через мелкое сито, сознательная воля будет пропускать крупицы творчества, выпадающие на долю нормального человека. Только нужные, только непосредственно полезные образы будут входить в поток сознания, а остальное... остальное уйдет обратно, зажатое в кованые тайные хранилища, на вечную сохранность... Твой творческий процесс, Роман, становится механическим, ремесленническим. Ты будешь отлично красить заборы, крыши, водосточные трубы, как каждый нормальный маляр... Нормальный. Таким образом, на днях тебя можно будет и выписать...».

Потом он рассматривал его первые рисунки и поражался их силой. Будто омраченный гений Врубеля витал над ним, зажигая краски самоцветных камней темным поразительным блеском.

Врач решительно предложил Алеше выписаться. Но теперь Алеша уже и не возражал. Солнце и весенний ветер вызывали у него желание побыстрее вы-

рваться из этого темного царства на свободу, в неизвестность. Ибо все-таки неизвестность ожидала его за воротами больницы.

Их детский дом был расформирован. Ребят разместили по другим детдомам. А некоторые из них убежали вместе с Пуговкой. Но Алешу это не пугало. Алеша теперь поверил в то, о чем говорил ему Матрос, и с новой силой мечтал он теперь о художественном училище. Его надежды пробуждались вместе с весной.

Ночью накануне того дня, когда он должен был покинуть больницу, там произошло страшное событие.

Утром коридор был наполнен шумом, беготней взволнованных санитаров. Потом высокого мужчину с сумкой, который все время следил за стариком и списывал его планы, понесли в операционную.

...Старик, перешагнув последние границы сознания, ночью подкрался к нему и впился зубами ему в горло. Но старику так и не удалось вырвать из рук своего противника кожаную сумку. Тот так сжимал ее в сведенных пальцах, что она будто приросла к его холодной влажной коже.

Этот случай привел Алешу в ужас. До этого он как-то равнодушно относился к страшным картинам, которые ему пришлось наблюдать в этой больнице. Теперь у него вырвался крик: «На волю!» И он тотчас побежал к врачу.

— Ну? — спросил его врач. — Как здоровье, Алеша?

— Отпустите!.. Я уже пойду, у меня ничего не болит, — говорил он умоляющим голосом.

— Уходи, уходи! Никто тебя держать здесь не будет.

Врач позвал санитара и велел ему выписать Алешу из больницы. Синие очки подпрыгивали на носу врача, будто крылья на согнутой пружине, собираясь расправиться и взмахнуть в воздухе. Потом он протянул Алеше руку.

— До свидания, скульптор.

Алеша с трепетом пожал ее своей худой рукой и следом за санитаром выбежал из кабинета.

X

Весна осветила уже своими солнечными лучами и столицу республики, которая была далеко от этого южного города, где мы оставили Алешу в ту самую минуту, когда он, сбросив халат, надел на себя свои лохмотья и, радуясь солнцу, вышел за ворота больницы.

А в это время предместья далекой столицы только начинали наполняться первым ароматом пробуждающихся деревьев, которые питались соками утренних туманов, смешанных с дымом заводских труб. Вставало багряное солнце, разбуженное могучими призывами гудков — к труду, равномерному и неуклонному, как движение самой планеты, на которой они стояли.

Весна, подкравшись на мокрых медвежьих лапах, дышала запахом подснежников, теплым паром молодых дубовых побегов, она распускала над землей усы растений, которые клонились от ветра, наполняясь молодой, пышной силой.

А в самой столице она разливала по неугомонной мостовой буйную радость. Она улыбалась пятнами на стенах домов, брызгала хохотом из-под трамвайных колес, задорно скакала по высоким лесам строек и гудела в шумной толпе, которая беспрерывным потоком заполняла мокрый асфальт тротуаров. Люди спешили на работу, словно огромный поток, стремившийся залить улицы и переулки, площади и стены с их шпилями и высокими антеннами и, вырвавшись за эти каменные границы, хлынуть на просторы всей республики.

Могучий пульс ритмично бился в сердце страны, наполняя артерии города все новыми и новыми толпами людей.

А особенным гулом были наполнены площади и перекрестки, по которым двигались колонны радостной молодежи. Звонкий смех и песня взлетали ввысь и дрожали в лазурном весеннем небе. Тяжелые грузовики грозно и стремительно прорывались сквозь толпу молодежи с надетыми набекрень кепками и расстегнутыми куртками, а над морем голов реяли плакаты и

карикатурные чучела генералов, попов, лордов, фабрикантов с огромнейшими животами и стражников с громадными усами. Юноши на грузовиках выкрикивали громкие лозунги, пели и хохотали, и, поддерживаемая голосами пионеров, продолжала греметь песня, этот непобедимый символ весны. В руках юношей корчились разрисованные чучела генералов, плясавших танец своей гибели; над всем этим уже неслись новые, бодрые потоки...

Это был комсомольский праздник. Молодежный карнавал.

Асфальтированная площадь перед тихим домом с колоннами, где осуществляется исполнительная воля республики, была сегодня наполнена шумом молодежного карнавала. Величественные просторы улицы Либкнехта, гранит и бетон высоких дворцов, которые неожиданно пересекают взгляд своими стенами, и даже архаичные купола автокефальной николаевской церкви, возле которой ночью ругаются, ждут и толкают друг друга извозчики, — все сегодня радовалось блеску солнца.

Песни! Могучие, как буря, и юные, как их автор Усенко, комсомолец Павлуша, песни звучали в громадах кварталов, ударялись о стены дворцов, взвивались ввысь и плыли, будто те огненные знамена, которые развивались на шпилях ВУЦИКа:

Туда идут колонны юности —
мы инсургенты злых времен.

И вдруг их путь преграждали тучи:

Ах, буйная скатилась голова,
Варшава кровью залилась,
— Подхватил телеграф...—

и навстречу полетел из стройных колонн, из тысяч грудей и открытых уст грозный ответ:

и нервы класса!..

Потом снова налетали волны, крепчал ветер, и в рокоте девятого вала горели энтузиазмом молодежи улицы и площади.

Песни! Могучие, как буря, песни звучали в громадах кварталов, ударялись о стены дворцов, взвивались ввысь и пылали, будто те огненные знамена, которые реяли на шпилях ВУЦИКа...

Веселые толпы двигались за город. Там, на широком поле, под весенними деревьями, пылкие вожаки комсомолии выступали с короткими и громкими, как выстрелы, речами.

На импровизированной трибуне стоял юноша с фуражкой в руке. Он размахивал перед собой фуражкой, разрезая праздничные лозунги неожиданными цезурами. Толпа поддерживала его вихрем аплодисментов и возгласов.

А со стороны за оратором следила не отрываясь пара серьезных глаз, которые, казалось, хотели втянуть оратора в свою влажную глубину. Это были глаза юноши лет шестнадцати, одетого в мешковину. Пышная шевелюра согревала его голову лучше, наверное, любой фуражки.

Он следил за каждым движением оратора, за каждым его словом. Какой-то глубокой внутренней силой вздымало ему грудь. Его лицо то бледнело, то неожиданно загоралось пламенем. Губы шевелились, повторяя слова говорившего, а руки, глубоко заложенные в карманы, сжимались в кулаки и дрожали от напряжения. Он не оторвал своего взгляда от оратора и тогда, когда тот кончил и соскочил с трибуны в море поднятых рук и голов. Он следил за ним, стараясь не отстать ни на шаг. А когда услыхал, что оратора со всех сторон называют Харитоном, ему уже легче стало пробираться поближе к нему, потому что он шел туда, где слышал это имя. Сколько раз он уже дергал оратора за конец блузы, но тот не обращал на него внимания — мешала толпа.

И только с наступлением вечера, когда утихла медь оркестров и зажглись факелы, веселые толпы молодежи рассыпались на небольшие группы и пошли в город, будто могучие ряды инсургентов в радостное наступление.

Тогда пареньку удалось наконец ударом плеча отбить оратора от товарищей.

— Ты чего толкаешься? — спросил тот, смерив взглядом эту очень независимую фигуру, одетую в мешковину.

— Без дела не толкался бы. Значит, есть дело. Вы Харитон будете?

— Ну, так что, если Харитон?

— А я Матрос. Не здешний, не приглядывайтесь. Сегодня вы говорили все справедливо насчет пролетариев, а вот теперь я хочу, обратно, поговорить с вами...

— О чем?..

— Так... поговорить об одном деле.

Харитон поглядел на худое, заостренное лицо. Давно не мытое, перемазанное сажей, оно было на редкость спокойным и настойчивым. Только руки нервно шевелились в карманах, а запавшие и напряженные глаза говорили о том, что неожиданный собеседник придает очень большое значение этому разговору.

Матрос стал заметно волноваться.

— Так чего же? Говори, — нерешительно промолвил Харитон.

Выбравшись из толпы, они пошли рядом, нарочито замедляя шаги. Матрос вначале молчал, не зная, с чего начать. Харитон молча, украдкой следил за тем, как он, наклонившись, смотрел себе под ноги, будто его очень интересовал тротуар.

— Давно беспризорничаешь? — спросил наконец Харитон.

— Не особо. А раньше чистил на пароходах котлы... — Эти слова Матрос произнес с гордостью и сплюнул на тротуар. — А вот у меня есть корешок, — продолжал он, — так он умеет лепить из глины чертей или попа и вообще художник. Его, конечно, нужно в художественное, да некому похлопотать. Пропадет в детдоме из-за моего характера, потому что я там одного гада, Пуговку, угостил под сердце, не знаю, жив ли. Алешка, бедняга, остался в детдоме, а я вот на воле. Я — совсем другой сорт, найду работу и, наверное, брошу вольную жизнь. А о нем я повсегда думаю, как бы определить его, чтоб не страдал, потому что у

него такой талант, что он сам не пробьется. Конешно, у меня роба неподходящая, мешок этот не шибко антилигентный, куда в таком виде пойдешь? Пойди я в какое-нибудь учреждение хлопотать, мильтон сразу потурит. Там, в детдоме, еще думка была — чтоб заработать, а потом... Я уже придумал, как Алешке на пиджак собрать: это чтоб продавая чертей. Ну, а как я Пуговке дырку сделал, пришлось выехать сюда. А теперь и не знаю, как быть. Думаю так, чтоб совет от вас какой получить, а потом я б уже знал, что делать...

Харитон слушал его, и чем дальше, тем с большим интересом. Матрос открывал ему целую драму своей неспокойной жизни, насыщенной постоянными тревогами и полной неосуществленных надежд. Перед ним возник образ и этого неизвестного ему «корешка» Матроса, способного, может быть, на большее, чем лепить копеечные «штучки», назло завистливому Пуговке. Возбужденная мысль Харитона билась в поисках самого быстрого выхода из создавшегося положения. «Но что толку помочь в одном случае?! Дело этим не исправишь. Их много. Ну да, конечно, мы избавимся от этих черных пятен, это всем известно... А между тем, что делать сейчас, в данном случае, о котором рассказывает этот паренек?».

— Что же делать? — вслух спросил Харитон. — Где он, этот твой товарищ? Если он не здесь, так что ж мы сделаем?

— Как что? Я этого не знаю, ну, а вы же партейный, комсомол.

— Так что же, если комсомол?

— Прикажите, чтобы Алешку в художественное. А я себе работу найду.

— Да ты чудак! Тут приказом не поможешь. Тут... черт его знает, как тут поступить. Если бы он хоть тут был, тогда бы взял его, пошли бы вместе или что-то такое... А так — ну что же? Может, пусть он приедет?

— Натурально. Я тоже так думаю.

— Так куда ж он приедет? На улицу? Взять его из детдома, а тут куда? Может, еще и нелегко будет

его в детдом... Ведь тут и своих... Вот ты почему на улице?

— Так я не в счет. Не обо мне сейчас разговор. Я что! Найду работу — и наплевать. Перезимовал под радиатором, а летом легче. Теперь-то я уж не пропаду. Мне Алешку...

Харитон посмотрел на Матроса с теплой, дружеской улыбкой.

— Где ж ты найдешь работу?

— Там видно будет. Мне все равно где.

— Хм... Вот что. А может, придешь ко мне завтра, что ли, туда, где я работаю? Ты мог бы справиться с работой курьера?

— Что там кульер! Вы мне скажите, как насчет Алешки. А что это такое — кульер? Сурьезная работа?

— Нет, ты и в самом деле приходи. Хотя я тебе определенно обещать и не могу. Может, что и выйдет, а может, и нет.

— Куда приходить?

Харитон сказал адрес.

— Я приду, только чтобы и Алешку можно было пристроить. Если бы я был в комитете, я бы сразу. А то беда в том, что я не в комитете, да и роба у меня... Куда уж... А вам это совсем просто. Приказал: «Отдать в художественное», — и сразу готово.

— Да, приказал...

— А что же? Я же слыхал, как вы сегодня о буржуях говорили. Вам наплевать. Отдал в художественное — и все. Он и Ленина может вылепить, только не хочет его из желтой глины. Если бы ему дать гипса, он белый и высыхает подходяще... «С желтой, говорит, могу черта, попа и другие штучки. А уж для Ленина, говорит, нужен гипс». Ну, тут вам только нужно распорядиться.

— А разве тот детдом не может?

Матрос остановился и презрительно сплюнул.

— Детдом?

— Да. Там же следят за ребятами и наводят какой-то порядок. Они ведь знают, куда его направить.

— Ничего вы не понимаете... Детдом! Тут поддержка нужна...

— Да я понимаю. Словом, приходи, я с товарищами еще посоветуюсь. Устроим! Приходи! — уже восхищенно говорил Харитон: Матрос поддал ему жару.

— Вот! Вы там в комитете! Комитет сразу: «Отдать в художественное — и амба». Потом я еще и Червяку найду работу. О, и Метелику! Всем!..

Так разговаривая, подошли они к центральным улицам и нырнули в разношерстную толпу, плывшую по тротуарам в электрическом сиянии фонарей и витрин. Матрос искренне исповедовался тому, кто, по его мнению, может сделать все, чтобы устроить их судьбу. Он вытащил из карманов свои черные, потрескавшиеся руки, размахивал ими перед Харитоном и в то же время не забывал толкать прохожих своим острым плечом. Прохожие удивленно поглядывали на этих горячих собеседников. У одного из них на груди горела звезда, а второй потряхивал чубом, который был одинакового цвета с его странной одеждой. Но они ни на кого не обращали внимания.

Остановившись на углу, Харитон кивнул головой в сторону кофейной:

— Знаешь, что? Давай зайдем, поедим.

Матрос пристально посмотрел на большую витрину, на которой лежали соблазнительные пирожки, колбасы и другие вкусные вещи. Потом медленно отвернулся и сказал равнодушно:

— В другой раз.

— Чего?

— Сейчас у меня нету грошей.

— Ничего, у меня есть. Одолжу.

— Нет, у нас там сейчас ужин. Хлопцы ждут. Так что до свидания.

Харитон почувствовал: это последнее Матросово слово. Он ни за что не пойдет есть, хотя в его глазах промелькнул энтузиазм голодного.

— Ну, тогда будь здоров, — сказал Харитон, протягивая руку.

Матрос не спеша протянул свою и решительно тряхнул руку Харитона.

— Значит, дело в шляпе?

Он сразу повернулся и скрылся в толпе, только вдали мелькнул край его мешка. Харитон постоял минуту, потом запустил руку под фуражку и задумчиво почесал голову.

— Хм! Вот так дело! Как же быть?

И он, вместо того чтобы зайти в кофейную, пошел вниз по улице, к площади, где еще звучало пение товарищей и утомленно гремели оркестры.

XI

Алеше было безразлично, куда идти. Черный важно шел рядом с ним. Влажные холмы предместья, озаренные солнцем, были покрыты туманной дымкой, и от них становилось тепло и тоскливо. Усыпанная кремнем дорога спускалась меж двух пастбищ, изрытых когда-то снарядами, а теперь заросших первой зеленой травой. Земля согревала свои раны, они уже не болели, а наполнялись весенней негой.

Вдали на серой возвышенности раскинулся город. Готический шпиль немецкой кирхи сурово краснел в недостижимой высоте небес. Алеша не знал эту часть города. Он остановился перед удивительным зрелищем. За башнями и строгими крестами кирхи вдали блестели купола кафедрального собора. Раздутые и забрызганные золотом, они оставляли неприятное впечатление на фоне этого мастерского сплетения лазури и шпилей, видневшихся на первом плане. А над всем этим — и над тяжелыми этажами домов и над грациозными башнями — звучал гимн солнцу, замиравший в глубине небес.

Алеша побрел вверх по узенькой улице, на которой во время перемены уже бегали школьники, наслаждаясь солнцем и воздухом. Они свистели на собаку и пытались посмеяться над Алешей, но он шел задумавшись, не обращая на них внимания, и поэтому они очень скоро оставили его в покое.

Так Алеша подошел к рынку. Он остановился, узнал знакомые места. Здесь, где-то поблизости, должны быть рундуки, где они вместе с Матросом увиде-

ли своего чертика. Черный стал нервничать, острый запах рыбы, доносившийся из дальнего угла рынка, раздражал его, а Алешу расстроили нахлынувшие воспоминания. Он сердито крикнул на собаку и быстро перешел улицу, чтобы уйти от этого места. Черный неохотно поплелся за ним, распуская по мостовой голодную слюну. Проходя мимо магазинов букинистов, жестянщиков и тряпичников, Алеша невольно обратил внимание на широкие разбитые железные створки, которые закрывали пустовавшие темные ниши. В ряду, где уже торговали букинисты и жестянщики, было, наверное, около пяти таких ниш, которые нарушали стройность всего торгового ряда.

Возле одной из таких ниш стояла группка беспризорных ребят. Выбравшись на свет из темной норы, где они ежедневно ночуют, беспризорники собирались купить что-нибудь на завтрак и спорили из-за копеек. Все это промелькнуло как в тумане перед глазами Алеши. Может быть, в его сознании возникла тревожная мысль и о своем ночлеге... Но он быстро ушел отсюда, спускаясь по улице, что вела к порту.

Весь день он бродил вдоль берега синего и еще студеного моря, любуясь пароходами и сотнями белокрылых лодок, которые усеяли горбатую спину великана. Наконец, голод разыгрался в его пустом желудке, подступил к горлу и сдавил его голову какими-то легкими, но причиняющими страдания тисками. «Куда идти? — спросил он сам себя. — Нужно где-то приткнуться на ночь, а завтра видно будет».

Но где приткнуться, когда кажется, что отовсюду прогонят, что мильтон может поймать да еще куда-нибудь засадить и отправить? А тем временем уже начинало смеркаться, нужно было выбираться из порта, где становится так безлюдно, страшно и холодно.

— Куда же мы теперь пойдем, Черный, а?

Но Черного мало беспокоила проблема ночлега. Ему больше хотелось есть. Он завилял хвостом, да и то потихоньку, через силу: мол, куда хочешь, туда и пойдем, лишь бы идти. И вдруг Алеша вспомнил о дырявых железных створках ниш. Полутемная свободная ниша привлекла его как что-то очень спокой-

ное и уютное. Кажется, там было еще и немного соломы. Значит, там было бы не так уж плохо переночевать.

С этой мыслью Алеша пошел по залитым огнями улицам искать рынок. Он не помнил точно, как пройти туда, и не сразу нашел. Но через час он уже оказался возле запертых магазинов букинистов. Пройдя вдоль ряда, он быстро нашел и то, что искал. Однако оттуда, из этой черной норы, доносился спор. Там уже кто-то был. Алеша с минуту прислушивался. Ну, ясно, там полно беспризорных. От света папиросы блестят чьи-то зубы. Кажется, из-за папиросы они и спорят. Тогда Алеша подошел ко второй, третьей, четвертой норе. Все они были битком набиты. Эти заманчивые помещения не пустовали. Они были набиты жильцами, как спелый подсолнух семечками. Не оставаться же ему ночевать на тротуаре! Надо попытаться втиснуться в какое-нибудь из этих помещений. Хотя у них своя компания, но одного-то, может, и примут.

Он подошел к первой попавшейся нише и, отогнув кусок железа, который раскачивался уже на одной застежке, полез туда внутрь. Черный покарабкался следом за ним.

— Кто? — спросил кто-то сердитым голосом.

Алеша на миг остановился. Что-то будто знакомое услыхал он в этом голосе. Да нет, показалось... Нужно лезть дальше.

— Кто, спрашивают? Куда лезешь?

— Да свои, — прошептал Алеша.

— Кто свои? Луна или солнце?

— Солнце.

— Лев или собака?

— Лев...

— Что? Кто такой?

— Собака, собака...

— А, собака! Откеда?

— Да впускай, свой, не слышишь! — зашумели беспризорные. — Лезь поскорее, зануда, не выхолаживай фатеры!

Сначала залез Алеша, а следом за ним протиснулся и Черный. Воздуха в «фатере» не было. Там стоял

одуряющий, как от навоза, запах. У Алеши закружилась голова, защекотало в горле. Но не потому задержал он дыхание. Ему показалось, что где-то он уже слышал этот голос. И он с волнением стал прислушиваться. Кто это? Спросить? Нет, лучше подождать, — может, он заговорит еще.

— И вот, шпана, стою я в лоте, — начал снова этот же голос. — Дених масса...

— У тибе? — тихо, посмеиваясь, спросили ребята.

— Дурак! У тибе... Молчи, а то ногой как двину! Думаю: ну как бы его пожичить? А один поклал на вокне партманет, а сам с дамочкой заигрывает.

— Ну? И... и что?

— Ну, я тогда «хап» — и ваших нету. А тут стоял один босяк. «Держи!» — кричит. Жалко ему, заразе.. Но я уже был во дворе, в саду, а его как сцапали, так, наверное, и кишку отбили. Потом прибежал мильтон, тогда ище и в чулан посадили.

Ребята закашлялись от хохота. Кто-то брызнул слюной прямо в лицо Алеши. Он почувствовал, как у него под кожей прошелся мороз. Последние сомнения исчезли. Это был Пуговка. Его голос. И даже в темноте чувствовалось, как он сплевывал сквозь зубы...

Алеша меньше всего желал этой встречи. Он пододвинулся к выходу, тихонько свистнул в ухо Черному и, оставив на острой жести кусок своей сорочки, выскочил на улицу.

Он бежал прямо по улицам, не отдавая себе отчета в том, куда они ведут. Только бы убежать, как можно подальше от этой компании, от Пуговки! А куда? Разве не все равно?

— На, Черный! На... Бежим... Ну его к свиньям, этого Пуговку...

И они оба бежали с высунутыми языками, подтягивая живот и спотыкаясь на выбоинах тротуара.

Алеша остановился только тогда, когда перед ним вырос тяжелый черный массив монумента. Значит, они на бульваре, в самом центре города. В полутемных аллеях, настороженно оглядываясь, слонялись люди. Они останавливались под деревьями, долго и безнадежно поджидали кого-то. В густом, темно-золо-

тистом электрическом сиянии ночи, в недосягаемой глубине неба, где-то над куполами собора, состязались между собой и падали вниз одинокие звезды. С могучих плеч монумента, стоявшего посреди бульвара, спадал чугунный плащ. Гордо и задумчиво возвышалась голова бывшего патрона этого города. Алеша перешагнул тяжелую цепь, охранявшую покой монумента, и приблизился к его подножию. Холодный и гладкий мрамор ласкал кожу Алешиных рук. Он влез на широкую мраморную скамью и наклонился к мудреным буквам, стоявшим колонками у ног генерала, — они рассказывали о его минувшей славе и о также минувшей благодарности горожан. Алеша закрыл глаза и, пригретый Черным, позабыв тревоги и волнения, уснул спокойно и сладко.

Следующий день не обещал Алеше ничего хорошего. Еще с утра голод стал туманить его глаза. Он никак не мог избавиться от сонливости. Веки отяжелели, их трудно было поднять, чтобы посмотреть на свет, выбрать какую-то дорогу и идти по ней, идти хоть невесть куда. Однако и сидеть нельзя. Алеша встал и равнодушно поплелся за Черным, который в поисках поживы шел наугад, выбирая те места, где, по его мнению, можно было бы найти хоть какие-нибудь отбросы. Иногда он забегал к кому-то во двор. Тогда Алеша поджидал у ворот до тех пор, пока он с лаем не выскакивал оттуда, волоча перебитую ногу. Иногда кое-кто из прохожих останавливался на минутку, чтобы посмотреть через плечо на хрупкую Алешину фигуру, на его необыкновенные ресницы, торчащие на утомленных лимонных веках, закрывая его странные, не находящие себе места глаза. Алеше хотелось сказать людям, что он хочет есть, что ему негде ночевать и что он вообще как былинка в поле. Но язык его был сух, слова застревали в горле болезненными комками, и он шел дальше, минуя переулки, ворота и чужие уютные дворы.

На одной улице, когда Черный снова куда-то исчез, Алеша остановился возле магазина с игрушками.

Пушистые медведи, деревянные раскрашенные лошадки, блестящие голые куклы с розовыми ногами раскачивались у него перед глазами. Это было прекрасное зрелище. У него закружилась голова от усталости и истощения, и он, чтобы не упасть, склонился к окну, но зацепил ногой кучу детских лопаточек и обручей, стоявших возле дверей на улице. Игрушки полетели на тротуар, весело ударяясь одна о другую. В тот же миг из магазина выскочил хозяин и схватил Алешу за ухо.

— Ах ты, босяк! Красть пришел? Вор, бандит! Прохода от вас нет. — И его тяжелая белая ладонь прилипла к Алешиной щеке. — Вон! Я тебе покажу, как воровать, мерзавец!

И он так толкнул Алешу в спину, что тот зашатался и упал на тротуар. Мальчик быстро поднялся и побежал, потому что сзади него собиралась толпа, раздавались вопросы и смех, а с другой стороны улицы уже шел милиционер.

Черный нагнал Алешу на Уютной улице и виновато стал лизать ему руку. Алеша не хотел идти дальше. Он уселся под стеной одного дома, где грело вечернее солнце. Оскорбленный и голодный, он задремал, будто скованный собственным бессилием. Так прошла ночь, и обеспокоенный пес напрасно старался разбудить Алешу. Он лаял, дергал Алешу за штаны — все напрасно. Тогда он тревожно завыл. Чья-то сердитая рука закрыла окно над их головой. На улице ни души. Собака не переставала лаять. Тогда из двора вышел мужчина и бранясь подошел к Алеше. Это был утомленный за день дворник. Какую-то минутку он постоял над Алешей, потом поднял его на ноги и, выругавшись еще раз, довольно энергично потащил его в свою квартиру. Собака охотно проскочила в калитку в тот самый момент, когда дворник собирался запереть ее. Тряхнув ухом, пес не стал больше ждать и тут же исчез в глубине двора, откуда доносился одуряющий запах мусорной ямы.

Дворник напоил Алешу теплым чаем и накормил его остатками своего ужина. Алеша поел и опять уснул, покрытый пахучим тулупом.

...Утром они уговорились с дворником, что тот разрешает Алеше ночевать во дворе в будке, которая хотя и повалилась на бок, но могла еще послужить. Ее можно обмазать глиной; если Алеша захочет, то это можно сделать очень просто — во дворе есть старый лемпач, которым можно будет воспользоваться. Со своей стороны Алеша обещал научиться подметать улицу, двор и помогать Фоме Петровичу — так звали старого дворника. Да Фоме Петровичу и этого не нужно. Живи себе потихоньку, приходи, ночуй, лишь бы вреда от тебя не было.

Алеша рассказал ему о своей жизни, поделился со стариком и своей страстью к лепке разных фигурок. Суровый дворник, достаточно помятый жизнью и недостатками, слушал своего странного приемыша, потягивая большую трубку. Дым валил из его широкого носа, въедался в глаза и закрывал щетинистое лицо.

— Хоть и у меня ночуй пока что, — говорил он Алеше. — Ночуй, только смотри мне.

Но Алеше больше нравилось жить в будке.

Он взялся приводить в порядок свое новое жилище. Достал старого кирпича и позакладывал им дыры в будке. Потом набил лемпача, который сыпался с разрушенной, старой стены бывшего сарая, и замесил глину. Он обмазал глиной всю свою будку. В ней можно было сесть или лечь, поджав под себя ноги. Алеша был несказанно рад. Ночлегом он уже обеспечен, теперь можно подумать о том, как добыть себе пропитание. Он вспомнил о том, что советовал ему Матрос, — лепить фигурки для продажи. И Алеша решил, что завтра он раздобудет глину получше, чем та, которой он обмазывал будку, и попытается сделать кое-что для продажи. Правда, его не слишком радовала мысль лепить фигурки ради денег, неизвестно для кого.

Но он не хотел оставаться без куска хлеба, не хотел, чтобы Фома Петрович ради него отрывал от себя.

Спустя несколько дней, когда в будке, перед которой теперь вылеживался Черный, собралась уже изрядная кучка глины, Алеша сообразил, что ему лепить. Накануне Алеша увидел грека, хозяина лавочки, где

Фома Петрович покупал себе хлеб и селедку. Это был очень добрый грек, вполне достойный того, чтобы его вылепить. Ростом он был не выше, чем полтора аршина, а шириной не менее аршина. Его голова почти сливалась с туловищем, а вместо шеи виднелись три мягких и нежных подбородка. Кожа у него была такая мягкая и темная, что казалось, будто он каждый день умывается маслом. На лице ярко вырисовывались черные торчащие усы и спокойные маленькие глаза, которые все время улыбались, выглядывая из-под острых, кустистых бровей. Одним словом, этот современный потомок гордой Эллады был очень симпатичный человек, а если порой он и старался сбыть не очень свежую рыбу или колбасу, то делал это всегда так умело, что даже Фома Петрович его очень уважал. Алеше он просто понравился. «Вот если бы вылепить такую фигурку», — подумал он. И в тот же самый день Алеша приступил к работе.

Лавочка грека была совсем недалеко, в квартале от дома. Алеша бегал туда, смотрел на объект своего творчества и, прибежав обратно, исправлял нос, увеличивал голову, обрабатывал подбородок. За один день он сделал фигурку грека и показал его Фоме Петровичу.

— Тю, ты смотри! — сказал тот. — Так это же Валиади! Смотри! Ха-ха! Ну, как живой, сукин сын, этот грек. . .

Алеша схватил свою работу и полетел к Валиади.

— Дядя, — обратился он к нему, — не купите ли вы у меня эту фигурку? Мой товарищ говорил мне, что понимающие люди покупают такие штучки.

Грек посмотрел на статуэтку, и его лицо засветилось радостью и гордой улыбкой.

— Да! Это мой отец. . . Уверяю тебя, что он очень был похож на этого, что ты показываешь. Сколько тебе дать?

— Да сколько. . . Я денег не хочу. Будете давать мне понемногу колбасы и хлеба. А я вам, если хотите, еще что-нибудь сделаю.

Грек взял статуэтку и поставил ее перед собой на конторку.

— Да! Это настоящий дедушка Валиади! Три фунта хлеба и фунт колбасы! Берешь?

— Давайте. Только не все сразу. Я буду брать понемногу каждый день.

На том они и договорились. Алеша, счастливый, как никогда, взял на первый раз фунт хлеба и четверть фунта колбасы. Часть порции он выделил для Черного. Пес удивленно схватил этот подарок, щелкнул зубами и отвел в сторону свое единственное здоровое око, чтобы не видеть, как долго ест свою порцию его друг. Потом Черный не выдержал, поглядел на Алешу. Но у того в руках уже ничего не было. Тогда он встал и побежал со двора — искать где-то поесть, потому что, раздраженный этим кусочком мяса, он не мог больше терпеть голода.

XII

После разговора с Харитоном Матрос еще долго бродил по городу, прислушиваясь к шуму толпы, который нарастал, словно волны далекого моря. Матросу было приятно ощущать на своей спине чей-то упорно толкавший его локоть, который старался оттолкнуть его, пробиться вперед. Матрос влился в радостный поток юношей, и впервые ему стало больно и стыдно за свою «робу», как он называл свою рваную мешковину.

Он с опозданием пришел на вокзал, куда Червяк в этот вечер созвал товарищей. Все они должны были поделиться тем, что приобрели за день, сообща купить что-то на ужин и потом посовещаться о дальнейшей жизни. С наступлением весны кое-кто стал отбиваться от их группы. Ромка Свистун вот уже третий день неизвестно где пропадает. Матрос тоже что-то задумал. Так же нельзя корешковать!

На вокзальных часах было уже половина одиннадцатого, когда Матрос вошел в зал третьего класса и разыскал там Червяка.

— Послушай, корешок, — сказал ему Червяк, — мы тут все тебя ждем, а ты неизвестно где пропадаешь. Сказано — в десять, так надо приходить в десять, нечего козыря гнуть.

— Не шуми, Червяк, — отозвался Матрос, — не шуми, брат, я же был занят делом.

— Каким делом? Сказано — в десять...

— Чудак, сегодня же праздник.

— А, что там праздник! Ромки Свистуна тоже нет. Если так работать, так ну его к чертям. Я тогда не отвечаю.

— Натурально, — отозвались и ребята.

— Ну, хватит, — сказал Матрос, и Червяк и ребята умолкли. — Давайте лучше поужинаем, потому что есть так хочется, что даже кишки болят. А потом я вам, друзья и товарищи, прошу прощения.

— Что?

— За что?

— Уезжаю.

Червяк обвел всех глазами. Ребята посмотрели на Матроса.

— Как же это так, что «уезжаю»? А... а мы как?

Матрос улыбнулся и развел руками.

— Берите билеты, и едем вместе, если хотите. Только я скоро вернусь. Еду за корешком.

— За Алешкой?

— Да.

Все ребята знали об Алеше. Матрос чуть ли не каждый день думал и рассказывал им о нем. Теперь уже никто не мог остановить его. Матросу казалось, что после разговора с Харитоном сомнений быть не может, он привезет Алешу в столицу, устроит его в художественное, а сам найдет себе какую-нибудь работу. У Матроса зародилась надежда, что он и их сможет куда-то пристроить, если они захотят бросить свою вольную жизнь. За этот день Матрос будто вырос больше, чем за все предыдущие годы. Это чувство придавало его словам какую-то весомость и уверенность. И еще ему казалось, что он уже взрослый рабочий и что он сумеет вывести на правильную дорогу Алешу и их...

Ребята стояли потупившись, не зная, что сказать.

— Не вешайте носы! — обратился к ним Матрос. — Как-то оно, да будет. Перезимовали мы, не пропали. И дальше не пропадем. Я так думаю, комитеты хотят изничтожить нашего брата, чтоб и духу не было...

— А убежать? Разве нельзя убежать? Давай на Ростов...

— Дурашка ты, Мотылек! Ты разве не понимаешь, что и там изничтожат? Комитеты же, как ты думаешь?

— Да, они всюду.

— Ну вот.

— И когда уезжаешь?

— С первым поездом и еду.

— Хм. Дело вакса, — закончил Червяк. — Ну, давайте ужинать, а там видно будет.

Оказалось, что на ужин набралось только восемнадцать копеек. Ребята купили ржаного хлеба и по кусочку белого. Так и ужинали — ржаной заедали кусочками белого, лишь бы казалось вкуснее.

Потом Матрос попрощался с товарищами, обнял Червяка и пошел на перрон, чтобы там где-нибудь дождаться своего поезда.

Когда поезд подали, он подошел к паровозу и, поговорив с машинистом, полез на тендер.

— Давайте лопату, — сказал он кочегару.

Тот бросил ему широкую лопату. Матрос уперся ногами в кучу угля и стал подбрасывать его к топке, откуда уже кочегар бросал уголь в багряную пасть паровоза.

Поезд тронулся.

Матрос гордился тем, что хоть он и ехал зайцем, но платил все-таки честным трудом. Машинист улыбался, глядя на то, как он всю дорогу без отдыха подбрасывал уголь.

— Что, тяжелее, чем хватать гребешки? — спросил он, когда Матрос, выбившись из сил, присел на кучу угля.

— Я не хватал, — ответил Матрос и снова взялся за лопату.

. . . .

Он выдержал целые сутки.

Когда поезд прибыл на станцию, Матрос бросил лопату и, соскочив на землю, пошел, пошатываясь, между вагонами, подальше от кондукторов и дежурных.

Город, который он так неожиданно покинул несколько месяцев назад, горел загадочными огнями, за-

манчивый и враждебный своей таинственностью. Матрос пробился сквозь бесконечную цепь извозчиков, перебежал через площадь и остановился. Только теперь, когда он находился на пороге осуществления своего необдуманного плана, перед ним возник вопрос:

«Куда идти?»

Он огляделся вокруг, и неприятный холодок кольнул его сердце. Он стоял возле отделения милиции. Налево темнели высокие стены губернского суда. В глубь города по длинной, ровной улице протянулись стройные змеи с блестящими железными хребтами. По ним катились трамваи, вагон за вагоном, которые, самоуверенно и раздраженно позванивая, исчезали в глубине улицы, где возвышалось необыкновенной красоты здание городского театра.

Куда податься? Где искать Алешу? В детдоме? Хорошо, но как его вызвать оттуда, чтобы случаем не засыпаться самому?

Отойдя подальше от дежурного, который своим спокойствием угнетающе действовал на Матроса, он снова остановился. Вместо того чтобы найти Алешу, свободно можешь сам влипнуть. Наверное, ему не простили Пуговку и рады будут запрятать его туда, куда Макар телят не гонял. А впрочем, надо пойти на разведку. Потом можно будет найти кого-нибудь из ребят, которые возьмутся вызвать Алешу куда-то подальше от детдома.

С этой мыслью он быстро пошел, даже побежал туда, где помещался детдом. И чем ближе он приближался к детдому, тем сильнее наполняла его душу непонятная тревога. Где-то шевельнулась мысль: «А если его там нет? Что тогда?» Он даже остановился на одном углу и хотел было повернуть направо и пойти наугад, в противоположную сторону от детдома. Но потом пересилил себя и пошел прямо, замедляя шаг, будто боялся в чем-то убедиться. Он застыл на месте, когда увидел знакомый, теперь уже отремонтированный дом, сияющий огнями, с белыми занавесками на окнах. На подоконниках стояли цветы.

— Тут детский дом? — безнадежно спросил он у

дворника, который стоял возле свежевыкрашенных ворот, рассматривая подозрительную фигуру Матроса.

— Проваливай, проваливай, пока не заехал по затылку! — сказал дворник, сворачивая папиросу. — Вишь, дом ему! Здесь люди живут, ты что тут забыл?

— Не мурлыкайте, у меня дело есть. Куда перевели?

— Поразгоняли вашего брата. Куда перевели? Будут там еще возиться с переводом! Разогнали — и все. Уходи, откуда пришел! Нянчиться еще! Вишь, какой здоровый, а работать не хочешь.

Матрос понял, что он ничего не добьется у этого рябого дяди. То, чего он боялся больше всего, о чем не хотел даже мысли допустить, теперь стало неожиданной, безысходной действительностью.

Где узнать? Кого спросить? Город немой, точно камень.

— Да... получается вакса, — промямлил он про себя и, заложив руки в карманы, пошел, повесив голову, обратно.

Он почувствовал, как у него заныли ноги. Голова стала пустой, неприятно тяжелой. Невероятное напряжение, которое поддерживало его целые сутки, теперь исчезло. Ему хотелось лечь где-нибудь под воротами и уснуть. Однако он тащился равнодушно, почти на ощупь, не замечая, что снова возвращается к вокзалу.

Он опомнился только тогда, когда снова увидел перед собой отделение милиции.

«Тянет меня в милицию, что ли?» — бессильно подумал он и с чувством какого-то нарочитого безрассудства прошел мимо дежурного милиционера. Тот бросил на него безразличный взгляд и отвернулся. Тогда он прошел к вокзалу и, едва передвигая ноги, взобрался на ступеньки, что вели в зал третьего класса. Прислонившись к стене, он закрыл глаза и почувствовал, как сладкая истома свела его руки, разлилась по суставам и мышцам.

Спать... Кажется, еще никогда ему не хотелось так спать, как сейчас.

Скулы сжались. Густая слюна спаяла язык с нёбом. Все тело опускалось в какую-то темную пропасть.

В этот момент что-то скользкое и холодное прикоснулось к его щеке. Оно продолжает лезть дальше по щеке, коснулось глаз, перелезает на вторую щеку, на нос, на губы. Холодное, неприятное, но от него идут две струйки теплого пара, которые возвращают ему на миг сладкий покой. Но только на миг. Сон улетает мгновенно: Матрос привык к тревожным пробуждениям. Матрос открыл глаза. Его лицо обнюхивала, тихо скуля, кудлатая собачья морда. Собака скребла когтями цемент и тыкала свой холодный нос в щеку Матроса.

— Пошел вон! — вскрикнул Матрос, но в тот же миг вдруг задрожал от радости и схватил собаку за большое разодранное ухо.

— Султан! Брат ты мой! Султан?! Ах ты же, собацюга моя... Как же ты узнал? Здравствуй! Здравствуй!.. Султанка ты мой! Где же ты пропадал? Султанка... Султан! Где ты был все это время? А?

Пес узнал своего старого хозяина. С жаждой раскаяния он лизал руки Матроса и от радости теребил его одежду. Потом сорвался с места и с тревожным лаем побежал на мостовую. Матрос забыл о сне. Он вскочил на ноги, и с любопытством следил за Султаном.

— Что такое? Куда ты? Султан! Сюда!

Но пес, прихрамывая, пошел еще быстрее, оглядываясь время от времени назад, чтобы убедиться, бежит ли Матрос следом за ним.

Матрос уже не спрашивал. Он едва успевал бежать за Султаном, ему некогда было размышлять о том, чем вызвана тревога собаки. Он бежал, как только способны были бежать его ноги, натруженные тяжелой работой на паровозе. Через несколько улиц он узнал Уютную.

— Уютная? Султан, ты нашел себе хозяина на Уютной улице? Да хоть не лети так, старый, я не такой проворный, как ты...

Ему было смешно и интересно: где же наконец остановится его бывший товарищ?

Султан подбежал к каким-то воротам, оглянулся, залаял на Матроса и, смешно перескочив на трех ногах через высокий порог калитки, помчался во двор. Матрос колебался минуту, потом вдруг бросился следом

за Султаном. Со двора до него донесся знакомый голос, заставивший его насторожиться. Этот голос сердито обращался к собаке:

— Черный! Где ты, бродяга, пропадаешь?

Пес лаял и от радости чуть не сбивал Алешу с ног.

— Что тебе? Пошел! Вон!

В этот момент Матрос подбежал к будке, хотел закричать, набрав полную грудь воздуха, но так и остановился с выражением огромной радости на лице.

— Алешка! — наконец произнес он.

Собака плясала вокруг них на своих трех ногах. Она нежно скулила и хватала их за руки в тот момент, когда они с радостью бросились обнимать друг друга.

Алеше долго пришлось будить Матроса. Утомленный непривычной работой на паровозе, он спал теперь как убитый. Алеша давно уже принес от грека остатки своих харчей, выпросил у Фомы Петровича железную миску и, накрошив в нее колбасы, нетерпеливо сидел перед этим богатством. Солнышко уже выкатилось из-за крыши дома и стало припекать грязное лицо Матроса, покрывая его густой испариной. Наконец Алеша потерял всякое терпение, он положил возле носа Матроса кусок колбасы, остро пахнущей чесноком.

Матрос вдохнул несколько раз этот возбуждающий аппетит запах, пошевелил губами и удивленно открыл глаза.

— Тьфу! Кто это смердит?

Алеша хохотал, совал ему в рот колбасу. Султан, оскалив зубы, тяжело дышал, стойко выдерживая испытание его собачьего терпения. Его затянутое туманной дымкой око с жадностью следило за колбасой, будто прикованное к ней невидимыми цепями. На лице Матроса засияла довольная улыбка.

— Смотри! Я, кажется, хорошо спал?

— Ну да, чуть ли не до обеда, — смеясь говорил Алеша. — Вставай, будем завтракать.

— Колбаса? Давай хоть колбасу!

И они, переполненные радостью, громко захохотали.

— А где это ты ее раздобыл? — спросил Матрос.

— У грека.

— Что же это за грек такой?

— Грек Валиади. Ничего, добрый грек. Я вылепил его, а он говорит, что это его отец. Дал мне фунт колбасы и три фунта хлеба.

— Обманул.

— Я?

— Чудак! Он тебя обманул... Ну да наплевать. Теперь мы уедем отсюда — и конец, ты уже в художественном.

Алеша не мог этому поверить. Еще никогда он не был так счастлив, как нынче. Матросовы слова вселили в него веру в осуществление его мечты. Он просыпался ночью, дотрагивался до своего верного друга, чтобы убедиться, что это не сон, а действительность, Матрос здесь, это он приехал сюда вчера из далекого, неведомого ему города и привез такую радостную весть.

— А я думал, кто его знает, живой ты или нет. Васька Глухой сказал, что тебя вытащили из-под поезда. Как раз тогда, когда ты убежал... Пуговка еще лежал в больнице. А со мной что-то такое случилось, что — я и сам не помню. Потом Пуговка пришел из больницы, так мы с ним подрались, и меня отправили даже в сумасшедший дом. Там я перезимовал. Вот, комедия там! Люди там в самом деле сумасшедшие... Да такое там представляют: один говорит, что он бог, второй — царь, а третий — купец... Я поначалу боялся, а потом привык. Достал глины, лепил там всякие штучки. Ну, если бы я хоть знал, где ты находишься, так я хотя бы не так тосковал.

— Чего же ты тосковал?

— Если жаль...

Алеша отвернулся, на его глазах заблестели слезы.

— Брось, чудак, — тихо промолвил Матрос. — Ты что ж думаешь, я не тосковал? — И Матрос тоже отвернулся в сторону и засопел носом.

— Так, значит, Пуговка вылежался? — спросил он немного погодя.

— Вылежался, только он никогда этого не простит. Он убежал, а ребят где-то разместили. Однажды я хотел было заночевать на рынке, когда вышел из больницы. Лезу туда с Черным, а там, слышу, Пуговка...

— Ну? Неужели Пуговка?

— Я назад. Выскочил — и ходу с Черным.

— С каким Черным?

Пес поднял голову. Он уже съел свой кусок и теперь удивился: зачем его вдруг снова зовут?

— Черный? А вот он.

— Так это же Султан! Мой Султан! Когда меня определили в детдом, он где-то пропал, и вот только теперь Султан нашел меня на вокзале...

Тогда Алеша рассказал Матросу, как он встретил Черного на улице возле детдома, как тот каждый день приходил туда, голодный и печальный. Алеша давал Черному корки хлеба, а потом он опять куда-то пропал, и только недавно они снова встретились.

Этот старый бродяга умел ценить дружбу — отблагодарил друзей тем, что привел своего старого хозяина к новому, с которым разделял свою судьбу почти год.

— А у меня он был лет шесть, — сказал Матрос. — Еще до революции.

Пес смущенно мигал оком, будто понимая, что речь идет именно о нем.

— Вчера он подался искать себе чего-нибудь на ужин... Жду, жду, а его все нет. Вдруг гляжу — бежит... Подбежал, лает, ласкается... Когда посмотрел — ты! Ну, как это произошло? — сказал Алеша и снова разволновался.

Он почувствовал, как к горлу подступает что-то жгучее и влажное. Матрос заметил это и поспешил перебить его:

— Значит, Алешка, собираемся. Сегодня, а хочешь — завтра поедем.

— А как же мы поедем?

— Да так и поедем. В ящике.

— А Черный?

— Да, Черный. Так что же? И он в ящике.

— А как же это?

— Да там увидишь... Эх, если бы у нас было хоть немного денег! Приехали бы мы и сразу купили пинджаки. А то в комитет неприятно так появляться. Ну, где бы взять? А продать у тебя нечего?

Оба засмеялись. Что бы они могли продать?

— Если бы можно было пожить тут недельки две да налепить попов для продажи или еще чего-нибудь... Только ведь нельзя. Нужно ехать, а то еще того Харитона потом не найдешь. А что ты лепил в больнице?

— Там такие две огромные штуки. Одна, знаешь, что там, на бульваре, где змеи ползают по людям. Вот эта. И потом я слепил второго черта. Вот то черт! Там был один парень, Роман, так он нарисовал его, а я тогда слепил. Только будто бы и не черт. Играет на свирели, а сам с бородой, с двумя парами крыльев, а на голове у него такая рогатая шапка, словно старые корни торчат. Потом еще маленькие штучки. Врач потом все это спрятал. Вот у него книг! А листрическая машина...

Друзья еще долго рассказывали друг другу о своей жизни и мечтали о будущем, забыв обо всем на свете. Но Матрос иногда хмурил брови и нервно долбил еще не высохшую глину в Алешином жилье.

— Чего ты, Матрос? — спросил его Алеша.

— Да думаю о деньгах. Без пинджаков, понимаешь, невдобно идти... Ну где ж его взять?

Этого уже Алеша не знал.

— Послушай, — сказал Матрос, явно задумав что-то. — Это та больница, что на Слободке? Та, что в саду? Вот интересно поглядеть! А врача можно было бы увидеть? Или не пускают туда?

— Зачем тебе?

— Разве что? Не имею права?

— А зачем, скажи?

Матрос колебался. Он побаивался, что его непрактичный друг может испортить ему весь план. А от осуществления этого плана, если это удастся, зависит, может быть, их будущее. Иначе придется оставаться в своей «робе», что было очень не по душе Матросу.

— Я бы тебе сказал, если бы ты был умным...

— Тогда говори. Ты, наверное, что-то придумал?

— Пускай он отдаст эти твои штучки, их можно будет продать.

— Какие штучки?

— Ну, этот... доктор. Что же он зафармазонил? Нет, отдай — и все. Не он же их делал? Значит, нечего запирать в шкаф, что не твое.

— Матрос! — воскликнул Алеша. — Ты меня убей, а я не пойду! Пускай они сгорят.

— Не пойдешь?

— Не пойду.

— И-и, мамалыга... Не нужно! Я и не прошу. Обойдемся без тебя.

Он поднялся и, не сказав больше ни слова, быстро ушел со двора. У ворот задержался, бросил:

— Подожди меня тут, — прошел в калитку и исчез.

Алеша ждал его добрых два часа, которые показались ему более долгими, чем все время их разлуки. Он проклинал себя за то, что не пошел вместе с Матросом. Теперь он даже не знает, куда тот пошел. Было бы лучше послушаться совета Матроса, самому пойти к врачу и выпросить у него эти фигурки. А то его друг побежал неизвестно куда, — наверное, добывать деньги. Да разве за глиняные фигурки можно что-нибудь получить? Вот беда! Он ведь не знал, что так выйдет... До каких же пор его ждать?

Давно уже солнце повернуло за полдень, а Матрос не приходил.

Алеша совсем потерял покой. Будто какая-то тревога звала его на улицу. Он ощущал потребность выбежать на улицу — так бегут навстречу неизбежному горю. Однажды, еще там, в экономии (он смутно помнит об этом), ему захотелось побежать в село, расположенное у подножия горы, на задах помещичьей усадьбы. Он бежал и с ужасом чувствовал, как бешено билось в его груди сердце, как поднимались волосы на голове. Подбежав к первой хате, он увидел, как трое солдат тащили какого-то человека и избивали его винтовками. Человек пытался вырваться из их

рук. И в один миг он двинул ногой одного солдата, ударил второго кулаком по лицу и бросился бежать. Тогда тот солдат, которого ударил человек, приставил винтовку к плечу и, крикнув «стой», выстрелил. Человек ударился головой о землю, обливаясь кровью.

Люди столпились в сторонке, повесив головы, крестились и исподлобья смотрели на солдат. Потом — все это происходило будто во сне — прибежала его мать, бледная, с открытой грудью, и бросилась на солдат с проклятиями. Она хотела повыдирать им глаза, называла их взбесившимися собаками, билась головой о землю, рыдая над трупом мужчины. Рассвирепевший солдат ударил ее ногой под самое сердце. Что было дальше, он уже ничего не помнит. Кажется, тогда с ним впервые случилось такое, как было в детдоме. Больше он не видел своей матери. Ее похоронили... Кто был этот убитый человек, он не знает, но, увидев один раз в жизни, не забудет до самой смерти. Умирая, человек посмотрел на Алешу широко открытыми глазами, в которых вспыхнул последний огонек. Это было так давно, на заре его детства, и только теперь, когда снова ему захотелось бежать неизвестно куда, ему припомнился этот случай.

Он поднялся с земли. Стрелой бросился за ворота. Остановившись на мгновение, краткое, как тревога, он вдруг завернул налево и помчался по длинной улице.

Он не помнит, сколько времени бежал. И вот перед зелеными воротами отделения милиции он вдруг остановился. От того, что он увидел, у него сжалось сердце: милиционер вел Матроса, крепко держа его за руку, а рядом с ним подпрыгивал Пуговка.

— Ведите его, ведите! А, что? Попался, убийца? Будешь резать ножом? Тогда не поймали, а теперь узнаешь...

Перед ними открылась тяжелая калитка с маленьким решетчатым окошком.

«Стойте!» — хотел крикнуть Алеша.

Но этот крик застрял у него в горле. Он бросился следом за ними. Но в этот момент калитка за Матросом закрылась, а Пуговка, как вьюн, проскользнул между дежурными и юркнул в переулок. Второй милиционер,

стоявший возле ворот, улыбнулся и покачал головой. Тогда Алеша подбежал к калитке и стал бить по ней кулаками.

— Пустите! Пустите к Матросу! Пустите! Я свидетель...

Дежурный отстранил его от калитки и погрозил ему рукой.

— А ну-ка убирайся отсюда.

— Пустите! Дяденька! Пустите! Матрос не виноват, — снова рванулся к милиционеру Алеша.

— Да ты что? Будешь крик поднимать? — недовольно сказал дежурный.

Он постучал в калитку, открыл ее и протолкнул туда Алешу.

— Проводите его к начальнику!

Этого только и ждал Алеша.

В первой же комнате он увидел Матроса.

— Алешка?! — шепотом произнес Матрос. — Пуговка, дрянь, засыпал... А у меня уже и деньги есть...

— Где ты их взял?

— Т-сс!

— Что же теперь будет?

— Не знаю...

Милиционер, сидевший за столом, повернулся к ним. Это был толстый, веселый мужчина. Пояс на нем едва сходился, да и то не на животе, а ниже. Он прищурил маленькие веселые глаза с серыми мягкими зрачками и стал рассматривать ребят.

— Сорванцы! Что-то уже натворили?

— А где начальник? — спросил милиционер, который привел Матроса. — Натворили... Этот герой ковырнул вот этого ножом.

Алеша и Матрос переглянулись.

— Когда? — не утерпев, спросил Алеша.

Милиционер резко повернулся к нему. Он не ожидал подобного вопроса.

— Ты же сам... — и остановился. — Что за черт? Это же ты говорил?

— Что говорил? Это Пуговка.

Матрос дернул его за штаны.

— А ты откуда взялся? — сердито крикнул мили-

ционер. — Где тот, другой? Тот хулиган где-то там, — объяснил он тому, что сидел за столом, и быстро вышел из комнаты.

Ребята молчали. Тот, что сидел за столом, еще раз посмотрел на них и весело засмеялся.

— Вот уж и сорванцы! Так кто же кого ковырнул? Тебя? — спросил он Алешу.

— Меня? Матрос? — Алеша и сам невольно улыбнулся, хотя ему было совсем невесело. — Матрос никогда меня не обижал. Мы с ним на работу едем.

— На работу? Вот так работнички!

— А что ж? — с возмущением сказал Матрос. — Канешно, на работу! А что тот уркаган капает на меня, так я скажу по правде: его счастье, что я уезжаю.

Вошел милиционер и развел руками.

— Нету. Сбежал, чертенок. А ведь уже возле калитки стоял... И куда-то исчез... Как же быть с этими героями?

Толстяк посмотрел на ребят, подумал и сказал:

— Да кто его знает. Запри их в ту камеру, пока начальник придет. Ну, ребята, потрудитесь! Работнички... Х-х-х-ха-ха!

. . . .

Когда они остались в комнате, где уже сидело несколько человек, окутанных густым дымом, Алеша прижался к груди Матроса и задрожал от плача, прорывавшегося сквозь скупые слова:

— Пропало? Не поедем? Все теперь пропало...

Матрос сам чувствовал себя не очень-то хорошо, однако он успокаивал Алешу.

— Чудак! Чего ты сомневаешься? Вот еще... тряпка!

А что будет дальше, об этом и Матрос не мог ничего сказать. Они сидели тихо, прижавшись друг к другу. В коридоре раздавались чьи-то шаги. Было тоскливо, до боли сжимались сердца. Постепенно стало смеркаться. Кто-то выругался, кто-то пытался затянуть песню.

Начальник не появлялся, наверное, целый час. В комнате заблестела электрическая лампочка. Сидевшие там люди затеяли какой-то оживленный разговор,

но ни Матрос, ни Алеша не вмешивались в него. Они думали о своих планах, которые так неожиданно нарушил Пуговка.

Там их и застигла ночь. В коридоре затихли шаги. Только чуть заметное дрожание стен напоминало о том, что в городе ночная жизнь идет своим чередом. В камере начали укладываться спать.

Только Матрос всю ночь не смыкал глаз. Алеша обессилел — его поразило это неожиданное, бессмысленное горе, и он дремал, согнувшись в уголке. Матрос смотрел на него с новым, незнакомым ему до сих пор чувством. «Спит, — думал он. — Эх, тряпка! Ради него засыпался, а оно, лахудра, ни к черту. Уже и испугался. А что бы ты делал без меня? Со мной все равно не пропадешь, а вот без меня? .. Если бы только вырваться! Тогда увидишь, что значит Матрос. Ты еще в кизяках рылся, а я уже хлеб зарабатывал, котлы чистил. . .» Он чувствовал свое превосходство над другом, и это наполняло его новой, гордой, несокрушимой силой, а вместе с нею и любовью к Алеше.

. . .Утром, лишь только забрезжил рассвет, ребята уже сидели, поглядывая тревожными взглядами на дверь. Часы тянулись нестерпимо долго. Им казалось, что прошло уже не меньше трех дней. И никто не приходит, никто не зовет их на расправу. Им принесли поесть. Они даже не прикоснулись к хлебу. Только мрачный Матрос набил хлебом свои карманы.

Проходил день. . .

— Пропали. . . пропали! — шептал Алеша. — Смотри, их зовут, а нас нет.

— Молчи! Разве их зовут на волю?

— А куда же?

— В допр, — бросил Матрос.

После этого они молча просидели почти до вечера. Но вот вдруг щелкнула щеколда.

Толстяк стоял в дверях, дожевывая вкусный бутерброд, и разыскивал кого-то своими веселыми глазами.

— Где вы тут, работнички? Х-х-ха-ха! А ну-ка, потрудитесь выйти!

Ребята вскочили на ноги и бросились к дверям.

— Сюда потрудитесь.

Они вошли в ту самую комнату, где были вчера. За столом сидел теперь «начальник».

— Вот они, герои труда! — захохотал толстяк. — Красота! Прямо так и говорят: едем, мол, на работу.

Матрос солидно произнес:

— В натуре. Уже и в комитете почти что договорился. А он в училище.

Начальник пристально посмотрел на них и незаметно улыбнулся себе в бороду.

— Зачем вы привели их сюда? — тихо спросил он толстяка.

— Да это не я, это Гаврилюк. Доносчик убежал, а с этими что делать?

— Выведите их за ворота... А ну, ребята, чтобы и духу вашего тут не было! Фить! Не было мороки...

Ребята одновременно, не успев сказать и слова, опрометью кинулись к дверям. Только хохот толстяка доносился им вслед.

Они прибежали на Уютную, чтобы позвать Черного и попрощаться с Фомой Петровичем. Тот посмотрел на Алешу, крякнул, зажег свою трубку. Потом посмотрел на Матроса. Волосы у Фомы Петровича стали торчком, острые, кустистые брови насупились, и он отвернулся.

— Увозишь — увози, только береги мальчугана. Сам хороший бандит, да еще и его за собой тянешь.

Ребята стояли, потупив глаза. Потом Матрос покачал головой и сказал Фоме Петровичу:

— Чего вы так говорите? А может, я от рождения пролетарий...

— Ну конечно...

— Вот вам и конечно... Так что нечего и агитировать. Спасибо вам за квартиру. И собирайся, Алешка!

— А... где же Черный? — спросил Алеша. — Черный! На!

Но Черного нигде не было. Ребята долго искали его. Фома Петрович молчал, но, видя, что ребята готовы и три дня Черного искать по городу, коротко сказал:

— Поймали Черного. Добегался... В этот раз не удалось вырваться ему.

Будто кто-то ножом провел по Алешиному сердцу.

Он побледнел и с ужасом поглядел на Матроса. То, чего он давно боялся, произошло теперь, когда уже все было готово к отъезду.

Матрос закусил губу.

— Пропал. Вот чертовы собачники! — выругался он и плюнул прямо перед собой, будто в глаза этим собачникам, а вместе и на свое прошлое...

. . . .

Товарный поезд двигался с остановками, медленно, оставляя позади себя зеленые огни. Развилки дороги на стрелках гремели под колесами — уходили в неизвестность. А на платформе с прессованным сеном, зарывшись в тюки, лежали Матрос и Алеша. Согретые собственным дыханием, они смотрели на звезды, которые всю дорогу не исчезали с высоких небес. Звезды указывали им путь, заставляли радостно биться их сердца.

— Везу, везу-у-у-у! — гудел паровоз.

— А на пинджаки у нас все-таки есть деньги, — гордо сказал Матрос. — На, погляди!

Он вытащил из глубокого кармана беленькую ассигнацию и передал Алеше.

— Сколько же это? — спросил Алеша, занятый горькими думами о Черном.

— Десятка, — спокойно ответил Матрос. — Врач не захотел отдать чертей, которых ты налепил. «Значит, говорю, платите не меньше как десятку, нам нужны деньги на пинджаки». Заплатил.

Матрос умолк.

Поезд проходил через глухой полустанок. Свет от одинокого фонаря упал на Алешино лицо. На нем горели два расширенных, огромных зеленоватых глаза. Казалось, они смотрели в будущее.

— Когда мы будем там? — тихо спросил Алеша.

Матрос ответил радостно, уверенно:

— Завтра.

Харьков, 1927

ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ МИКИТЕНКО

(Биографическая справка)

Жизненный и творческий путь Ивана Кондратьевича Микитенко типичен для большинства советских писателей, пришедших в литературу после победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Родился он 8 сентября (по старому стилю) 1897 года в южных степях Украины, в большом селе Ровно, на Кировоградщине (бывшая Херсонская губерния). Родители его были простыми крестьянами.

Детство и ранняя юность будущего писателя протекали в селе, среди безграничных степных просторов. Здесь он впервые узнал жизнь народа, его чаяния и стремления.

Окончив сельскую школу, Микитенко с большими трудностями поступает в Херсонское военно-фельдшерское училище, откуда в 1915 году его направляют на фронт.

Там и застала молодого фельдшера февральская революция. Участие в полковых комитетах, потом возвращение на родину, работа в фельдшерских пунктах Кировоградщины, борьба с тифом, культурно-просветительная деятельность на селе — таковы первые этапы самостоятельной жизни Ивана Микитенко.

С 1922 года Микитенко учится в Одессе, в медицинском институте. Там же он начинает выступать на страницах местной печати с многочисленными заметками, очерками, фельетонами,

рассказами, стихами. Немного позже появляются его первые пьесы-агитки. В это время Иван Микитенко вступает в литературное объединение пролетарских писателей «Гарт» и вскоре становится руководителем одесского филиала этой организации. В 1925 году его принимают в ряды Коммунистической партии.

В 1926 году выходит в свет первый сборник его рассказов «На сонячних гонах», посвященный событиям гражданской войны.

В следующем году Микитенко переезжает в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, и там, работая вначале в журнале «Червоний шлях», а потом редактором журнала «Гарт», принимает активное участие в литературно-общественной борьбе. И. Микитенко последовательно отстаивал принципы партийности в искусстве, борясь за консолидацию сил пролетарской литературы.

В 1927 году Микитенко избирают одним из секретарей ВУСПП и членом бюро ВОАПП.

В 1928 году, после окончания мединститута, Микитенко посылают в Германию для прохождения врачебной практики в одну из берлинских клиник. Одновременно он, как редактор журнала «Гарт», устанавливает связи с прогрессивными писателями Львова, Праги, Германии. В результате двухмесячной поездки появилась книга-репортаж «Голуби мира».

С этих пор Микитенко полностью отдается литературно-общественной деятельности.

В 1930 году в Харькове была созвана Международная конференция революционных писателей. И. Микитенко — один из активных ее организаторов. На эту конференцию съехались представители многих литератур мира, в том числе Анри Барбюс, Иоганн Бехтер, Вилли Бредель, Эми Сяо, Бедржих Вацлавек, Мате Залка и другие.

В 1928 году, который был особенно плодотворным для Ивана Микитенко, появляются одна за другой его книги: поэма «Огни» — о раскрепощении украинской женщины во время революции и гражданской войны, пьеса «Иду» — о жизни села в первые годы советской власти — и, наконец, сборник рассказов и повестей «Уркаганы».

В произведениях, вошедших в этот сборник, автор рисовал жизнь молодой Советской Республики в двадцатых годах. В рассказе «Братья» он показывал взаимоотношения рабочего класса

с крестьянством и необходимость укрепления союза между городом и деревней. С глубоким сочувствием писатель рассказывал о жизни беспризорных ребят, выброшенных на улицу бурными событиями гражданской войны и разрухи («Уркаганы»). Особенно выделяется в этом сборнике написанная с сочным украинским юмором повесть о похождениях крестьянского мальчика. («Гавриил Кириченко — школяр»).

В годы коллективизации Иван Микитенко неоднократно выезжал в села Украины, вел большую пропагандистскую работу среди крестьян. О коллективизации в Николаевской области он написал и издал в 1932 году книгу очерков и рассказов под названием «Тринадцатая весна».

Широта интересов, актуальность тематики, активное вторжение в жизнь, умение схватывать и показывать в произведениях самое характерное, типическое — эти черты писательского таланта Ивана Микитенко хорошо помнят его читатели тридцатых годов.

Рассказы, повести, незаконченный роман «Утро», драматические произведения, созданные писателем в 1927—1937 годах, — это значительный вклад в украинскую советскую литературу. Проза, как и драматические произведения И. Микитенко, характеризуется актуальностью тематики, занимательностью сюжетов, но более всего яркими, глубоко реалистическими образами и выразительностью языка.

Повесть «Уркаганы» и незаконченный роман «Утро» вместе с рассказом «Братья» являются лучшими в прозаическом наследии Ивана Микитенко.

Между «Уркаганами» и «Утром» много общего в решении главной проблемы перевоспитания беспризорных ребят. Алеша и Матрос — главные персонажи повести — действуют и в романе «Утро». Но в романе автор затрагивает тему большевистского подполья в Одессе в годы иностранной интервенции, связи разгромленной белогвардейщины с контрреволюционными элементами, нашедшими себе пристанище в монастырях, рассказывает о партизанской борьбе, о деятельности комбедов, о создании трудовых коммун для беспризорных ребят и об их роли в воспитании детей.

Однако творческое лицо писателя Микитенко определяется прежде всего его драматическими произведениями. В 1929 году в журнале «Гарт» была напечатана пьеса «Диктатура», которая принесла Микитенко популярность как драматургу. Напря-

женные конфликты и ситуации этой пьесы, ее образы и острые диалоги ярко показывали классовую борьбу на селе в конце двадцатых годов, наглядно доказывали необходимость и справедливость диктатуры пролетариата в условиях советской власти.

В последующие годы одна за другой появляются пьесы Микитенко, которые идут на сценах всего Советского Союза и завоевывают симпатии советского зрителя. В них рассказывается о студентах первых советских вузов («Кадры», 1930), о шахтерах Донбасса («Дело чести», 1931), о славных строителях Днепрогэса («Девушки нашей страны», 1932), о красных партизанах («Бастилия божьей матери», 1934), о жизни советской молодежи («Дни юности», 1936).

Особенный интерес представляет сатирическая комедия «Соло на флейте» (1935), направленная против подхалимов и карьеристов, за утверждение новой, коммунистической морали. Появлением этой пьесы он как бы подтвердил свое выступление на Первом съезде писателей СССР: «Нам вместе с созданием образов положительных героев абсолютно необходимо создать образ последнего мещанина, уходящего из нашей социалистической действительности... Мы должны показать его в сатирическом произведении. До сих пор в нашей литературе, особенно в драматургии, нет больших сатирических вещей, а между тем класс победителей имеет право на уничтожающий смех, на смех сатирический так же, как и на смех жизнерадостный. Мы должны полным голосом сказать в своих произведениях о нравственном могуществе большевизма, показать на этом фоне всю подлость уходящего старого мира».

Наряду с литературной деятельностью Микитенко проводил большую общественно-политическую работу. Он систематически выступал со статьями и докладами, принимал непосредственное участие в дискуссиях и спорах, отстаивая принцип партийности советской литературы, служащей интересам народа. В 1934 году И. Микитенко был активным участником Первого Всесоюзного и Первого Всеукраинского съездов писателей, одним из организаторов, а потом руководителей Союза советских писателей Украины. В 1934 году Микитенко избирают членом правительства.

Микитенко был участником международных антифашистских конгрессов в защиту культуры в Париже и в Мадриде.

Этот небольшой сборник даст возможность советскому читателю познакомиться с творчеством одного из выдающихся украинских советских писателей Ивана Кондратьевича Микитенко, которое было подчинено основному и важному для каждого писателя — отображению жизни народа и вдохновению его на совершение великих идеалов создания нового, социалистического общества.

СОДЕРЖАНИЕ

МИКИТЕНКО
ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ
УРКАГАНЫ

Редактор *Д. В. Тевекелян*

Художник *А. Н. Морозов*

Худож. редактор *В. И. Морозов*

Техн. редактор *С. И. Брусиловская*

Корректор *Е. И. Краснюк*

Сдано в набор 27/III 1957 г. Подписано к печати 13/VI 1957 г. А 05328. Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 16 3/8 (13,42). Уч.-изд. л. 12,52. Тираж 30 000. Цена 4 р. 85 к. Заказ № 299

Издательство «Советский писатель»
Москва, К-104
Б. Гнездниковский пер., 10.

Типография № 3
Управления культуры Ленгорисполкома.
Ленинград, Красная ул., 1/3

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва. К-104, Б. Гнездниковский пер., 10, издательство «Советский писатель».


4 р. 85 к.


Н. НИКИТЕНКО
УРКАГАНЫ